

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ
ЖӘНЕ ДІНТАНУ ИНСТИТУТЫ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қазақстандағы этносаясат және бірегейлік

ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтында өткен
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектер жинағы

3-ші бөлім

Этнополитика и идентичность в Казахстане

Сборник трудов международной научно-практической конференции
Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК

Часть 3

Алматы
2026

УДК
ББК
Т

*Рекомендовано к печати Ученым Советом Института философии,
политологии и религиоведения КН МНВО РК*

Ответственный редактор:

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич

доктор философских наук, ассоциированный профессор

Редакционная коллегия:

Садвокасова Айгуль Какимбековна – доктор социологических наук

Andrew Farmer – PhD, professor, England (UK)

Анджей Вежбицки – доктор политических наук, профессор, Польша

Айтымбетов Нуркен Искакович – PhD, ассоциированный профессор

Рецензенты сборника научных трудов:

Кан Георгий Васильевич – доктор исторических наук, профессор

Исмагамбетов Талгат Танатарович – кандидат политических наук, доцент

Этнополитика и идентичность в Казахстане. Сборник трудов международной научно-практической конференции Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК. / Под общ. ред. Шайкемелева М.С.-А. – Алматы: ИФПР КН МНВО РК, 2026. Часть 3. – с.

ISBN –

В сборник трудов международной научно-практической конференции Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК включены доклады и статьи ведущих казахстанских и зарубежных ученых – политологов, историков, социологов и философов. Авторы сборника посвятили свои доклады и статьи исследованию проблем межкультурного взаимодействия, языка вражды в интернет-пространстве, миграции, взаимосвязи межэтнических конфликтов и социально-экономической ситуации, проблемам общественной интеграции, и другим аспектам нациестроительства и формирования национальной идентичности в Казахстане и различных странах мира.

Сборник предназначен для казахстанских ученых, преподавателей, студентов, докторантов и магистрантов, а также адресован широкой общественности, интересующейся проблемами этнополитики, межэтнических отношений, формирования национальной идентичности и национального строительства.

Сборник научных трудов подготовлен и опубликован в рамках научного проекта ИРН АР23489872 «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана». (2024-2026 гг.)

УДК
ББК
ISBN –

© Институт философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, 2026

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проведение Международной научно-практической конференции «Коммуникативные практики этнических групп Южного Казахстана: вызовы и перспективы» было инициировано в рамках осуществления исследовательского проекта «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.), выполняемого в Институте философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК. Исследовательская группа проекта изучала проблематику межэтнических взаимодействий и управленческих технологий местных административных органов в местах компактного и смешанного проживания этнических групп Юга Казахстана. Данная проблематика исследуется в более широком контексте вопросов дальнейшей реализации государственной этнополитики в стране на современном этапе ее развития, проблем этнической и гражданской идентификации в контексте задач нациестроительства и формирования национальной идентичности в Казахстане и в мире.

Составители Сборника научных трудов международной конференции сосредоточились по преимуществу на тех концептуальных разработках этнополитической проблематики, которые имеют отношение к целям и задачам упомянутого выше проекта, завершающегося в 2026 году:

- отечественный и мировой опыт исследований межэтнических и межгрупповых отношений в контексте государственных задач по развитию и укреплению политической идеологии единства и согласия народа Казахстана;
- факторы интеграции/дезинтеграции этнических групп южного региона страны, влияющие на формирование общенациональной идентичности;
- тенденции изменения неравенства доходов населения южных регионов страны во взаимосвязи с изменением уровня этнической фракционализации и межэтнической конфликтностью в ближайшей перспективе;
- дискриминационные медийные и коммуникативные практики в мировых и казахстанских СМИ и социальных сетях.

Одной из главных задач проекта «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.), стало изучение социально-экономических, политических, этнокультурных и религиозных стратегий этнических групп Юга Казахстана, направленное на поиск зон и факторов наибольшего межэтнического напряжения и путей их наиболее эффективной нейтрализации в контексте совершенствования государственной этнополитики на местах. В связи с этим были актуализированы вопросы теоретического анализа возможностей и границ практического применения отечественного и зарубежного опыта формирования гражданской нации в Казахстане и в мире. Доклады и дискуссии конференции были сфокусированы на апробации результатов исследований казахстанских и зарубежных ученых, исследующих данную тематику.

Процесс так называемой казахизации или национализации, так можно назвать процесс казахстанской модернизации — это объективный процесс, который по-своему уникален и в то же время технологии культурной и

политической национализации имеют достаточно общих черт с постсоветскими странами, особенно, в которых сформировались крупные русские (руссоязычные) диаспоры. Возникает вопрос: в чем специфика процесса казахизации как совокупности различных дискурсов и политических практик постсоветского Казахстана, который выбрал целью национального строительства государство-нацию?

Ключевой момент казахстанского процесса национализации заключается в том, что государство в Казахстане является главным творцом и актором на этнополитическом поле нациестроительства. Это управляемый государством процесс – факт, который признается всеми зарубежными и отечественными исследователями. Тем не менее, межэтнические отношения – это та сфера государственной политики, которой в Казахстане всегда уделялось максимальное внимание.

Межэтнические отношения представляют собой нелинейный, противоречивый процесс, включающий в себя разнообразные формы контактов между различными этническими общностями, что приводит к постепенной трансформации их групповых социетальных характеристик. В полиэтнических социумах, где права человека являются основополагающим принципом, отношения между этническими группами выходят за рамки простейшей дифференциации «мы-они» и строятся на основе учета интересов всех граждан, принадлежащих к конкретному сообществу, независимо от их этнической принадлежности. В казахстанском обществе широко распространена точка зрения, согласно которой народы Казахстана ориентированы на достижение взаимопонимания, взаимоуважения и мира в полиэтничном социуме. Социологические исследования последних лет свидетельствуют о конструктивном характере межэтнических отношений в Казахстане, несмотря на глобальную политическую турбулентность, геополитические разломы и разного рода неблагоприятные события, могущие поставить под сомнение постулат мирного сосуществования и позитивного взаимодействия этнических групп страны.

Говоря о неблагоприятных событиях, невозможно избежать упоминания о войне в Украине, которая оказывает огромное разновекторное влияние на внутривнутриполитические и этносоциальные процессы в Казахстане. При воздействии внешнеполитического фактора в обществе происходят различного рода латентные и спонтанные процессы, инициируемые «снизу» – осуждение войны как способа разрешения межгосударственных конфликтов и противоречий, повышение интереса к изучению государственного языка, представленного как в интернете и соцсетях, так и коммуникативном пространстве повседневности, вопросам этнонациональной идентификации, неизвестным и малоизвестным страницам отечественной истории и т.д.

Администрация президента РК и казахстанское правительство чутко улавливают направление и содержание этих интенций «снизу». В Астане 19-20 мая 2026 г. прошел международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», объединивший ведущих казахских и зарубежных ученых, экспертов и

представителей международного научного сообщества для всестороннего осмысления исторического наследия Улуса Джучи (Золотой Орды) .

В рамках симпозиума и выступления Президента Токаева было закреплено позиционирование Казахстана как прямого наследника Улуса Джучи (Золотой Орды), где формировались основы казахской государственности, культуры и этногенеза. Бесспорно, что заявления принятые на форуме явились ответом, не только на запрос на дальнейшую национализацию «снизу», но и на внешнеполитический вектор сегодняшних событий в мире, с целью закрепления статуса казахстанского государства как главного актора внешней и внутренней политики.

Задачи по формированию общенациональной идентичности усложняют задачу правительства в том, что политические технологии «сверху» начинают формироваться в процессе корреляции с мнениями «снизу» в соответствии с реализацией «обратной связи справедливого Казахстана» - основного тезиса модернизационных реформ, провозглашенных Главой государства Токаевым. В процессе национализации становится особенно важным диалог с гражданским дискурсом казахоязычного сообщества, которое все больше задает тон в дискуссиях о будущем страны.

Можно констатировать, что процесс так называемой казахизации (национализации), в настоящее время протекает достаточно плавно, но и оценивается в разных дискурсах по-разному. Казахские национал-патриоты считают эти темпы медленными и требуют ускорения процесса казахизации во всех сферах жизнедеятельности, начиная с языковой. Их поддерживают казахоязычные регионы юга и запада страны. Русскоязычные антрепренеры напротив обеспокоены пусть и очень медленным, но все-таки сужением пространства функционирования русского языка. Государство при этом выступает в роли верховного арбитра, административно нейтрализуя влияние наиболее воинственно настроенных как казахоязычных, так и русскоязычных акторов, могущих поставить под удар стабильность и согласие в стране. Таким образом, национализация (казахизация) на самом деле намного более сложный и многоуровневый процесс, который предполагает значительную внутриказахстанскую конкуренцию.

В данный момент времени дискуссии, политическая и социокультурная жизнь во многом переходят в Интернет-пространство. Поэтому одной из важнейших задач нашего проекта в прошлом и этом году было исследование языка вражды в социальных сетях, соотношение языка вражды в виртуальном и реальном пространстве. По нашим наблюдениям, основанным на огромном массиве фокус-групповых исследований 2021-2026 гг. существует большое количество свидетельств респондентов о том, что «развитие социальных сетей спонтанно создает новые возможности и площадки для генерирования и распространения дискриминационных высказываний, этнических стереотипов и речевой агрессии».

Выигрышной стороной данного сборника, отмеченного рецензентами, видится обоснованное и грамотное осмысление сложной и противоречивой реальности современных политических и общественных процессов в

категориальной системе гуманитарных наук. Авторы сборника на основе междисциплинарных подходов грамотно и реалистично обосновывают многофакторность развития этнополитических процессов, что не раз проявлялось в истории их формирования и функционирования в самых различных сообществах. Именно поэтому авторский коллектив сборника в целом пытается воздерживаться от однозначных оценок.

Междисциплинарный категориальный аппарат исследования, использование результатов полевых исследований в контексте анализа мировой научной литературы в данной области показывает высокий профессиональный уровень и компетентность интернационального коллектива исследователей, представленного в Сборнике научных трудов.

В статье английского специалиста в сфере британского и европейского законодательств Эндрю Фармера рассматривается комплекс взаимосвязанных вопросов, находившихся в фокусе внимания Международной конференции Института философии, политологии и религиоведения: интеграция мигрантов в британское общество, британская идентичность, влияние онлайн-коммуникаций на данные процессы и рост авторитарных тенденций в политической сфере как реакция британских властей на миграционные и идентификационные тенденции в обществе.

Автор считает, что стремительные социальные и демографические изменения способны угрожать политическому статус-кво Великобритании. Подобные ситуации уже возникали в прошлом в связи с перемещениями населения внутри Соединенного Королевства и были связаны с урбанизацией, ростом численности рабочего класса и среднего класса, а также изменениями в миграционных потоках. В одних случаях эти процессы побуждали политическую систему становиться более либеральной и демократичной, в других – могли вызывать авторитарную реакцию. Э. Фармер отмечает, что последствия могут быть схожими независимо от того, происходят ли реальные изменения или же изменения лишь воспринимаются таковыми, что является важным уроком в эпоху современных онлайн-коммуникаций.

Подводя итог, автор отмечает, что ситуация в Великобритании, касающаяся всех миграционных аспектов, трансформации британской идентичности и ответных мер правительства, стремительно меняется. Полезно анализировать прошлый и текущий опыт Великобритании и извлекать из него уроки. Однако, контекст в разных странах различается, поэтому к любым попыткам экстраполяции уникального опыта отдельных стран следует подходить с осторожностью.

Узнав, что наши Сборники научных трудов по этнополитическим процессам в Казахстане и за рубежом вызывают интерес у казахстанских преподавателей и студентов в качестве дополнительного пособия в этнополитических курсах и предмету сравнительной политологии, Э. Фармер по собственной инициативе составил Приложение с вопросами, которые студенты и преподаватели могут использовать в процессе обучения. Редакционная коллегия Сборника трудов конференции с благодарностью приняла решение опубликовать статью вместе с Приложением.

В статье ведущего эстонского политолога Райво Ветика представлена авторская концепция, которую он назвал Мета-моделью (МВМ). Он считает, что вместо измерения только того, насколько хорошо меньшинства интегрируются в общество, нам необходимо изучать отношения между группами этнического большинства и меньшинства, структурированные их асимметричными позициями, диктуемыми во многом внешним контекстом безопасности. Методологически это означает замену однонаправленной инструментальной сравнительной модели, в которой обе группы измеряются по одним и тем же пунктам, на двухматричную структуру, в которой смысловой мир каждой группы сначала фиксируется в своих собственных терминах, а затем сравнение проводится на метауровне посредством теоретически определенной реляционной конструкции. В этом подходе известного эстонского ученого присутствует несомненная новизна и утилитарный интерес для казахстанского научного дискурса, исследующего межэтнические отношения.

В совместной статье финской исследовательницы Ларисы Кангаспуру и казахстанского социолога Ботагоз Ракишевой описаны исторические особенности и современные тренды в миграции из Центральной Азии в страны Балтии и Северной Европы, актуальные как для Скандинавии, так и для Казахстана. На основании большого фактического материала ими показано, что проблемы возникают у мигрантов в странах пребывания, и связаны они в первую очередь с интеграцией и правовой защищенностью, вопросами трудовой деятельности.

Сложность в достижении целей и задач этнополитики показана в статье Ш.Д. Болганбаевой, участницы проекта исследовавшей язык вражды в интернет-пространстве и в сообществах Шымкента и Туркестанской области. Она отмечает, что: «Объектами негативных характеристик становятся не только этнические группы, но и социально уязвимые категории населения: безработные, просители подаяния, мигранты, отдельные категории кандасов, молодежь и люди с низким уровнем образования». Эти обоснованные замечания автора статьи позволяют расширить традиционное понимание языка вражды. Ею делается вывод, что «в Южном Казахстане негативное или враждебное отношение чаще связано не с этнической принадлежностью человека, а с его положением в обществе. При этом такие факторы, как социальный статус, образование и образ жизни, нередко играют более значимую роль, чем этническая идентичность».

В статье другой участницы проекта П.И. Мамедовой на примере Жамбылской области и г. Тараз отмечается, что на сегодняшний день социальные сети становятся одним из основных источников информации о межэтнических процессах. При этом участники фокус-групповых дискуссий фиксируют существенное различие между непосредственным опытом повседневного межэтнического взаимодействия и образом межэтнических отношений, формируемым в цифровой среде. Наиболее значимыми информационными рисками ею названы распространение непроверенной информации, сенсационность, эмоциональная подача материалов,

агрессивные комментарии и этнизация бытовых конфликтов. Установлено, что первоначально неэтнический конфликт в процессе обсуждения в социальных сетях может приобретать этническую окраску, вследствие акцентирования происхождения участников и противопоставления категорий «свои» и «чужие».

В сборнике трудов осуществляется анализ проблематики религиозной идентификации в Казахстане, представленный в статье Дамиры Сихимбаевой на английском языке. В ней анализируются интеграционные и дезинтеграционные факторы процесса исламизации, противодействующие и сопутствующие успешному национальному строительству в Казахстане. На тему специфики данного процесса ею приводятся убедительные доводы и результаты, проанализированные в трех кейсах, исследующих отечественную политику в религиозной сфере.

Итальянский ученый Фабио Де Леонардис в своей статье показывает, что страновая идентичность и экономическая конкуренция продолжают и в т.н. патримониализации национальной и региональной идентичности как «процессе дискурсивного конструирования тесной связи между пищевыми продуктами и конкретной территорией». На примере мировых брендов оливкового масла из региона Апулии он показывает, что «небольшая и средняя компании по производству оливкового масла из итальянского региона Апулия используют различные семиотические модусы в упаковке своей продукции, чтобы подчеркнуть тесную связь товара с определенной территорией и заявленным «традиционным» способом производства».

Современный маркетинг активно использует бренды, упаковку и этикетки для продвижения собственных товаров. Он же связан с идеологическими трендами и практикой экономической жизни, когда «фокус на идиллических сельских пейзажах скрывает жесткую эксплуатацию труда, тяжелые условия работы и социальное неравенство, с которыми сталкиваются сезонные мигранты, выполняющие физический сбор урожая. В конечном счете такой маркетинговый подход еще перекликается с более широкими неолиберальными тенденциями, которые трактуют диету и здоровье как личный моральный выбор человека, отвлекая внимание потребителей от острых трудовых, экологических и структурных проблем». Онлайн-доклад Ф. Де Леонардиса на конференции вызвал живой интерес аудитории своей необычной для нашего дискурса попыткой связать зарубежный опыт страны с долгой рыночной историей, маркетинговую тактику и стратегию со страновой идентификацией и конкретной территорией – регионом и местностью. Эта попытка анализа необычной взаимосвязи брендов и идентичности оживляет восприятие читателя и позволяет по-иному взглянуть на вопросы брендинга в контексте трансформаций локальной, региональной и национальной идентичности.

Польский автор Анджей Вежбицки обращает наше внимание на многолетнюю дискуссию между конструктивистами и примордиалистами в исследованиях этнонациональных идентичностей. Отмечая многоаспектность этой темы, можно сделать вывод, что обе крайние позиции исследователей в

мире достаточно категоричны, и профессор Вежбицки в своих размышлениях пытается выявить новые интегративные подходы для этнополитического дискурса, когда различные научно-теоретические позиции на практике дополняют прикладные исследования и расширяют наше понимание реалий нового мира.

Известный казахстанский ученый-экономист В.Ю. Додонов на примере анализа социально-экономических показателей Юга Казахстана пытается обосновать новаторскую для нас гипотезу о «наличии взаимосвязи между ухудшением уровня жизни, а также усилением неравенства доходов в южных областях Казахстана с возникновением и частотой межэтнических конфликтов». Анализируя статистические данные по республике и опираясь на анализ мировой литературы в этой области он приходит к выводу, вполне согласующимся с выводами других зарубежных авторов о том, что «тот факт, что большинство этих конфликтов совпадали по времени с периодами кризисных явлений в экономике Казахстана и имели место в регионе с самым низким уровнем доходов, позволяет сделать вывод, что неблагоприятные экономические условия создают предпосылки, своего рода благоприятный фон для конфликтов, которые возникают на почве имеющихся проблем в межэтнических отношениях неэкономического характера и могут обостриться в условиях еще большего снижения уровня жизни, спровоцированного кризисами».

В статье ответственного редактора данного Сборника научных трудов Шайкемелева М.С.-А. исследуется процесс казахизации этносоциального пространства Казахстана в контексте взаимодействия государственной этнополитики («сверху») и гражданского дискурса («снизу»). Рассмотрены различные аспекты казахстанской национализации – идентификационные стратегии этнического (титульного) большинства и этнических меньшинств, реакция внешнего мира и возникающие в связи с этим трансформации в этнополитике государства и межгрупповых взаимодействиях, межэтнические коллизии и конфликты, в результате которых формируется и корректируется национальная идентичность.

Статьи Нуркена Айтымбетова и Ботагоз Шакеевой, представленные на государственном языке сфокусированы на проблематике общественной интеграции в процессе нациестроительства. На основании социологических материалов, проведенных ими фокус-групповых исследований в целом ряде районов и областей южного Казахстана, авторами представлены интересные данные и выводы. В частности, по вопросам межэтнических отношений и языковой идентичности в регионе, интеграции, социального и культурного признания кандасов в принимающих сообществах Юга страны.

Умелое использование методов научного исследования всеми авторами Сборника научных трудов, в особенности эмпирических исследований, научно-теоретический анализ и доходчиво изложенный сложный понятийно-категориальный аппарат представленных статей показывают высокий профессиональный уровень и компетентность авторов-исследователей.

Компаративистский подход позволяет эксплицировать и анализировать различия, а также систематизировать их, поэтому он стал определяющим в этом исследовании. Положительным моментом в дальнейшем развитии отечественных исследований и интеграции казахстанской науки в мировое научное пространство является фактическое трехязычие данного сборника, представившего статьи на казахском, русском и английском языках.

Сборник написан, прежде всего для ученых, преподавателей, докторантов, магистрантов и бакалавров. Однако тема и стиль изложения вполне понятны также читателю, не углубленному в научные изыскания, что очень важно для популяризации науки и государственной этнополитики.

Приводимые в настоящем Сборнике статьи опираются на собственные исследования авторов и позволяют представить разные аспекты этнополитики и формирования идентичностей. Сложность этнополитических процессов и имеющие место мировые и региональные тренды всегда были и остаются целью и задачей научных исследований, в какой бы точке мира они не проводились. Соответственно, научные труды международной конференции могут оцениваться как обнадеживающий и правильный во всех отношениях шаг в актуальном направлении развития казахстанских этнополитических исследований.

Ответственный редактор и
научный руководитель проекта:
Главный научный сотрудник
ИФПР КН МНВО РК
доктор философских наук
ассоциированный профессор
Шайкемелев М.С.-А.

Migrants, Identity, Integration and Governance the United Kingdom

Andrew Farmer

Introduction

This chapter explores the inter-related issues of the integration of migrants into UK society, British identity, the influence of online communications and rise of authoritarian tendencies in the political environment. Each of these elements, while they overlap, also have developments quite separate from the others. In other words, while these issues all overlap, that overlap is only partial. Yes, large numbers of migrants who fail to identify with Britain, who fail to integrate and who may pose a (perceived) risk (social, economic, etc.) to the existing population may trigger some authoritarian response. However, significant numbers of migrants who totally integrate can also pose an economic risk or strain social service provision, so also triggering some response. Conversely, migrants who perform economically or socially important roles, but who do not identify as British, may be welcomed.

The chapter aims to highlight key points which would be of interest for students and researchers in Kazakhstan. It is important, however, to stress that every country is different in its reaction to migrants. Indeed, reactions will vary within a country (e.g. rural vs urban). This does not mean that lessons (good and bad) cannot be learned from practices and reactions in different countries, but it is important to not make simple extrapolations. The nature of the country (population characteristics, pressures on infrastructure, etc.) will vary. The number and type of migrants will vary. Hence reactions (both governmental policy and public reactions, including via social media) will vary. But there will be common themes, nevertheless. As a result, based on the issues discussed, this chapter includes an annex with questions that students can consider applicable in most countries.

Migration and Integration

It is important to begin with a brief summary of migration to the UK, how it is changing and the composition of the migrant population. This is the foundation for understanding issues of identity, integration and responses to this.

Migration to the UK has changed substantially in scale and composition over the past decade. The latest figures (ONS, 2025) show that 898,000 people immigrated to the UK in the year ending June 2025, while 693,000 emigrated, producing net migration of 204,000. Immigration has fallen considerably from its peak of 1.47 million in the year ending March 2023. The pattern is now increasingly dominated by non-EU migration: 670,000 of those arriving in the year to June 2025 (75%) were non-EU nationals, compared with 85,000 EU nationals (9%) and 143,000 British nationals returning to the UK (16%). Before the UK left the EU, immigration was dominated by EU nationals. The composition of the UK's migrant population is quite diverse. The most recent 2021 comprehensive data (ONS, 2022)) show India as the largest non-UK country of birth (896,000), followed by Poland (682,000), Pakistan (456,000), Ireland and Germany.

With regard to integration and identity, national origin is not the only factor to consider. However, there are, for example, no reliable official statistics on the religious composition of all recent migrants to the UK, because immigration statistics generally record nationality, country of birth and migration route rather than religion. Census evidence does, however, indicate religious diversity among migrants. Muslims are disproportionately represented among some newer migrant groups, particularly people born in Pakistan, Bangladesh and parts of Africa.

In conclusion, the number of migrants entering the UK changes significantly over time and has recently declined. The characteristics of those migrants has also changed. However, there is another aspect which has resonance with the public – migrants crossing the sea from France in small boats. In the year ending June 2026, about 33,000 people arrived by small boat. This, therefore, is small compared to overall migration. However, it is highly visible and newsworthy. Furthermore, numbers arriving using this route have increased since the UK left the EU (when it previously could return such migrants to France).

Changing Attitudes to Migration

Key to the interaction between migration, identity, integration and governance responses is the attitude of the population to migrants. How do they feel about the numbers, the characteristics of the migrants, etc. The more negative that attitude, the more pressure there is both on the migrants themselves and on governmental bodies to respond.

Interestingly, research (Kaufmann, 2017) found that there were differences in the experience of, and attitudes to, change in communities due to immigration. Where communities already had significant ethnic diversity, the white British population there was less concerned about new immigrants than it was in communities that were previously less diverse.

Attitudes towards migration have evolved and become more politically relevant in recent years. Immigration was a major issue in the 2016 Brexit referendum for the UK to leave the EU and has remained politically important since then. However, attitudes do vary over time (Schwartz, et al., 2021). The European Social Survey found that attitudes towards immigration became substantially more positive from the mid-2010s onwards, reaching a high in 2021–22, before experiencing a partial reversal.

Peresman et al. (2023) found that those with right wing political views, while generally unfavourable towards migrants in general, distinguished between those who were more culturally different from themselves, e.g. white European migrants compared to black African migrants or Christian migrants compared to Muslim migrants.

Another key issue affecting attitudes to migrants is the perception of them as a potential economic or cultural threat. People do not necessarily respond to immigration according to migration levels alone; their attitudes are also influenced by how they interpret the consequences of migration. Dennison (2026) found that perceptions of immigration as an economic, cultural or humanitarian threat are strongly associated with individuals' broader predisposition towards perceiving

threats, which link to responses which may be authoritarian. As a result, the economic impacts of migration (positive or negative) will not produce the same perception (and response) in two different individuals that experience the impacts in the same way. Their response will depend on their existing political and psychological orientations. Dennison (2026) concluded that the perceptions of migration are multidimensional. The threat may be economic, cultural, security (or combinations of these) and, therefore, Government policies that seek to address, for example, the economic threat, may satisfy only some individuals. Indeed, in cases where the economic/social benefit of migration is positive (filling critical jobs), some may still perceive such migration as a threat.

In conclusion, the evidence is that a claim that the UK is becoming an increasingly anti-immigrant society is too simplistic. Rather, the UK became more positive to immigration during the 2010s and early 2020s, followed by a recent backlash. The key point is not whether the public supports or opposes migration, but which forms of migration are considered legitimate, how much migration is regarded as acceptable, and whether the state is perceived to be capable of controlling it.

Identity

Britishness as an identity has never had a single definition. It has been defined in civic terms as a commitment to democratic institutions, citizenship, law, shared public culture and participation. It has also been defined in ethno-cultural terms, based on ancestry, birthplace, family history, language, religion and perceived cultural similarity. This is an important distinction. Government focuses heavily on the civic identity. Individual citizens recognise the civic side, but often emphasise the ethno-cultural aspects more. Indeed, where the political right does this and calls for authoritarian policies, one response is to argue that such responses are themselves not “British”, from the civic point of view.

Those with an ethno-cultural view are more negative towards migrants as almost all migrants will not fit into some aspect of British ethnic or cultural norms. However, while there is plenty of debate as to what these norms are and how to address the long-standing ethnic communities place in those norms, at one level this does not matter as each individual member of the public will have their own view of ethno-cultural British and will judge others against it. Having said this, it is important to note that the 2024 British Social Attitudes survey found that most people hold a predominantly civic rather than ethnic view of British identity (Curtice and Scholes (2024).

An important argument in the literature is that migrants have not generally been required to adopt a wholesale British identity, but they contribute to an evolution of British identity. Modood (2003) explored this in detail. He concluded that Britain has developed forms of identity in which ethnic and religious identities can coexist with British identity rather than necessarily replacing it. Indeed, migrants can (in whole or part) adopt existing British identity, introduce new aspects of identity that sit alongside the pre-existing identity or modify the pre-existing identity. So, for example, many migrants from India have fully adopted aspects of British culture, but they also retain aspects of their own culture (e.g. religion), which is common

across the UK, but sits alongside pre-existing culture; however, they have also significantly changed British culture as a whole in areas such as food and music. This means that many have a mixed or dual national identity. They identify as British, but also as Indian. Indeed, if one compares first, second and third generation migrants, they may all say they are both British and Indian, but would mean very different things by these two labels.

A further difference between British national identity and some other national identities is that British identity is a collection of historic national identities – English, Welsh, Scottish, Irish, etc. This is why the civic view of identity is relative strong – these values are shared across the UK, whereas Scots, Welsh and English may view themselves as distinct with separate (in heavily overlapping) cultural identities. This places migrants into a different context compared to some other countries. Someone from Nigeria might be viewed at some point as British, but not English. The identities of the migrant communities can sit within the “basket” of identities that constitute the overall British identity.

Kierans (2021) has, therefore, found that migrants commonly maintain multiple identities. Further, identification with an origin country and identification with Britain is not necessarily mutually exclusive. Migrants can develop a sense of belonging to Britain while retaining strong connections to their country of origin. Not surprisingly, this changes over time. Migrants who had lived in Britain for more than 15 years, only 46% regarded the place where they grew up as very important, compared with 89% among those who had been in Britain for five years or less.

Another way of looking at identity and integration is to ask whether there are aspects of immigrant culture which some or many British people view as unacceptable or even a threat to British identity. These aspects would not be easy to sit in the basket alongside other identities in Britishness. This would not apply to aspects such as food, music, language. However, practices such as female genital mutilation are not acceptable (and illegal). A particular issue arises with Islam. In recent years some have questioned if it is compatible with Britishness. This tends to conflate all Islam with radical, extreme Islam, but it does affect discourse around Islam generally and spills over into other aspects, such as women wearing Islamic dress. Traditionally British culture has not sought to dictate what people should or should not wear on the street, so this concern is somewhat contradictory.

The issue of multiple and parallel identities, alongside an evolving British identity, challenges the basic idea of a one-sided process of migrants integrating with a British identity. In reality it is two-sided. Both the migrants and the wider British society need to integrate. Kierans (2021) identified five aspects to this, which both sides participate in:

1. Structural — employment, housing and education
2. Social — friendships, relationships and community interaction
3. Cultural — values and practices
4. Civic/political — participation and citizenship
5. Identity — developing a sense of belonging

As a result, rather than ask the question, "Are migrants integrating into British society?", the better question is "How are migrants and established British populations negotiating a changing conception of British identity?"

Online Communications – the Influence of Social Media, etc

Online communication has become an important arena in which migration to the UK is discussed and challenged. Social media allows everyone from politicians and journalists to campaigners and ordinary users to communicate directly with large audiences. Furthermore, algorithms on social media sites can make emotionally charged material particularly visible, acting as reinforcement of existing views, rather than challenging them. Research (Burscher, et al., 2024) on the platform X (formerly Twitter) in the UK found significant polarisation between pro- and anti-immigration users. It analysed 220,870 UK immigration-related tweets and found that the anti-migration community was smaller, but more densely connected and active. The most active 1% of users produced more than 23% of anti-immigration tweets. Anti-immigration messages also spread 1.66 times faster than pro-immigration messages. Very often social media does not provide a route for individuals to learn about what others think and so allow their own views to evolve, rather it provides a echo-chamber to reinforce the views individuals already hold.

Online communication can therefore contribute to the framing of migrants through particular narratives, including associations between migration and crime, pressure on public services, border control and threats to national identity. Research examining British online newspapers and Facebook comments found that representations of undocumented migrants were often skewed in a negative way, while research on Twitter found that negative discussion of immigrants increased following periods when immigration received greater prominence in the news. There is, therefore, a feedback relationship between traditional media and social media (Menshikova and van Tubergen (2022), Dennison, (2022) and Smellie, (2022)).

However, online communication is not exclusively negative or anti-migrant. Migrants themselves use social media to obtain information, maintain relationships, build communities and participate in discussions about migration and belonging. UK Government research concluded that social media is an important source of informal information for people migrating and integrating into British society.

The development and role of online communication around social discourse is a huge topic and is a rapidly developing one. The role of Artificial Intelligence within this is another key emerging topic. These are beyond the scope of this short chapter to explore. However, it is useful to highlight one specific issue within the online debate on migration in the UK. The debate is not a closed community of UK users. Politicians, activists and others from other countries intervene in the debate, often further polarising it. There is also a deliberate external drive to influence the debate which is worth exploring in a little more detail in the following section.

The Role of External Actors in Creating Tensions

It is important to highlight that online communications concerning migrants and related issues in the UK is not limited to the UK. Far right interests from places

such as the United States and other European countries will intervene to spread disinformation. Further, Russia also has a programme to spread disinformation in several countries, including the UK, with the aim to spread division in society (Intelligence and Security Committee of Parliament, 2020; Foreign Affairs Committee of Parliament, 2026).

Studies found that Russia has targeted several groups in the UK to spread division, including the far right, Muslims, as well as nationalists in Scotland and Northern Ireland (divisions not limited to migration). Research has found that the aim has been to exploit pre-existing ethnic, racial, religious and political divisions. Of course, most migrants can be portrayed as fitting into one or more of those divisions.

It is useful to examine this influence in more detail. First, the research has found little evidence that Russia can manufacture large-scale ethnic conflict where no underlying grievance exists. Instead, the strategy has been to build on an existing controversy, such as numbers of migrants, role of Islam, etc.. The aim is to amplify, rather than create tensions. A repeated narrative technique has been to argue that migrants lead to national decline, particularly cultural erosion. This is easy to initiate, given that migrants are obviously of a different culture, but disinformation is used to suggest that this leads to a decline of British culture (rather than augmenting it or sitting alongside it) and suggesting problems such as criminality (Sambaraju and Kirkwood, 2026). Alongside this, the narrative suggests incompetence by the government in allowing this to happen.

In essence, the communication strategy has the following stages:

1. To identify an existing grievance – numbers of migrants, impacts on society, etc.
2. To amplify that grievance, by exaggerating the problem, such as numbers, impacts.
3. To polarise the debate and divisions, particularly along ethnic and religious narratives.
4. To criticise governmental structures, moving from a narrative of incompetence to conspiracies of deliberate actions by authorities.
5. To mobilise disaffected individuals and groups to protest, take political action and undertake illegal violent activities.

While this is a general, ongoing strategy, digital communication is enhanced during periods of tension in the UK. This includes political activities, such as elections and referenda, but also events such as riots or significant protests. For example, research examined riots that took place following murders in Southport in 2024 (Wischerath et al., 2026). Online disinformation quickly spread claiming that the attacker was a Muslim asylum seeker who had arrived in Britain by small boat. In fact, he was born in Wales. Research found Russian-linked actors behind this message. However, once begun, the narrative has a life of its own. Munk and Ahmad (2026) found a feedback loop, where false claims online led to violence, which was then recirculated online to provide evidence of the original (false) claims. Research on the social media platform X has found that racist and anti-Muslim material in the

UK receives much traction. Some AI-generated racist conspiracy images receive almost three times the engagement of other material (Buarque & Lewis, 2026).

The Case of London

The narrative around London forms an interesting case study on the issues explored in this chapter. It is also one I have a strong personal connection to, having lived in the city for nearly 30 years, extensively explored it and descend from generations of Londoners.

I am repeatedly shocked by how many perceive London – Londoners themselves (especially those who rarely venture outside of their narrow communities), people in other parts of the UK and some from other countries (witness repeated comments by Republicans in the US). These views do not match the facts on the ground and are part of a problematic narrative around the interlinked issues of immigration, crime and Islam.

London is exceptionally diverse. The misconception is not that diversity exists, but that the scale and consequences of demographic change are often exaggerated. The 2021 Census found that those classed as White British fell from 45% of London's population in 2011 to 37% in 2021, while the "Other White" population (mainly from mainland Europe and Ireland) increased to about 15% (ONS, 2021). The next largest groups were Black Africans (7.9%) and Indian (7.5%). London is unusual for UK as the non-White population of the UK as a whole is 19%.

Of course, many of these people are not migrants themselves – some are one or several generations of descendants of migrants. Around 41% of London's population was born outside the UK in the 2021 Census and this has increased. However, the perception is that many of these migrants are “illegal” or, for some reason, should not be in the UK. In reality most are legal – students, workers invited to come (nurses, doctors, skilled technical workers, etc.). The narrative of asylum seekers arriving by boat across the English Channel dominates, but only 0.17% of the population is an asylum seeker.

A particular part of the narrative on London is that migration is dominated by Muslims and that Islam has an excessive and negative impact on life in London, threatening non-Muslims (Jayaweera & Choudhury, 2008). This perception has grown since the election of Sadiq Khan (a Muslim) as Mayor of London in 2021 and, again, in 2024. Far right online platforms have even taken to refer to Londonistan!

Research by Kings College London (Duffy et al., 2026) found that people systematically overestimate London's ethnic and religious composition. They found that the median estimate for the percentage of the London population that is Muslim was 35%, whereas census data show that it is only 15%. The percentage is increasing (in 2011 it was 12.5%), but it is far lower than many perceive, but higher than the general UK population (6%). Part of the reason for this may be that the proportion is higher in a few London boroughs, as well as the fact the Muslims often have distinctive dress which makes them noticeable.

It is not simply the presence of Muslims and a general cultural shift (food, shops, etc.) that are perceived as a problem. There is perception, fuelled by online

disinformation, that Sharia Law is in use in parts of London and some areas have become “no go” areas for non-Muslims. The KCL survey found 34% believed these claims. Both have no basis in fact. Indeed, research has found that there is increasing engagement of young Muslims in the wider London community. Integration is happening, though this does not mean abandoning Muslim beliefs and values.

Another particularly trenchant perception and repeated narrative online and by commentators is that London is a particularly violent city and this is linked to immigration. Knife crime is indeed a particular concern, along with gun crime, especially by organised crime. However, while there are always reports of new incidents of violent crime in London, which is inevitable in a city of over nine million people, the reality is very different. London is less violent than other comparable cities.

First, it is important to stress that comparing crime statistics between countries is difficult as the way crimes are recorded may vary. This is the case with “violent” crime. As a result, it is easier to make direct comparisons on homicides, as these are much more clearly defined. If we compare London to other major European cities, the homicide rate is not high. In 2025 the London homicide rate of 1.1 per 100,000 of population, which was below Berlin (3.2), Paris (1.6) and Milan (1.6). In 2024 the London rate was 1.2, lower than Brussels (3.2) and Copenhagen (1.5) (Metropolitan Police, 2026; Eurostat, 2025, Greater London Authority, 2025). When compared to cities in the United States, London is also less violent. In 2025 the homicide rate in London (1.1) was much lower than New York (2.8), Los Angeles (5.6), Chicago (11.7) and Philadelphia (12.3).

London does have serious problems with knife crime, robbery and violence. However, the Metropolitan Police reported that cases of violence with injury fell by 18% in the year to March 2025, while homicide also declined in 2025. However, shoplifting and theft from the person have increased substantially and sexual offences have also risen. The online narrative of violent crime in London has led people outside London to view it as far more violent than it is. However, it also affects the perceptions of Londoners. A Crime Survey found that people over estimated the probability of being a victim of violent crime by more than double the reality. This means that there are unnecessary levels of anxiety and these fears affect people’s perceptions of migrants and of governmental responses.

Finally, these perceptions of migrants, cultural shift, crime, etc., are linked with attacks on different layers of government. Migration itself is a national government issue, but the Mayor of London is attacked for local decisions, even for staging cultural events that relate to an immigrant community. Online disinformation is significant in conflating crime, immigration and Islam.

In conclusion, the case of London is a focus for the wider challenges of integration of migrants and the accompanying discourse around cultural and religious changes, social pressures (such as crime, but also education, health, etc.) and the consequences for governance. It is a useful case to explore further, not least in that it is easier to gather evidence that is coherent over different issues compared to the much more diverse situation across the UK as a whole.

Authoritarianism

Those who consider migrants to be a risk to one or more aspects of British society usually demand that the Government (and others) act to address that risk. That might mean simply reducing overall migrant numbers, targeting those arriving by boat or targeting specific groups (such as Muslims). Some Government responses can be viewed as authoritarian in nature. In fact, adopting more authoritarian policies changes the political and social nature of British society. Thus, ironically, those concerned about migration affecting British society may act in such a way to change it themselves.

Authoritarianism is not simply a condition at one end of a political spectrum. Authoritarian attitudes and policies are a continuum. The reaction to migration is a preference for social order and prevention of further change. In most cases this results in attitudes that are not only conservative, but coercive against those causing the change. This translates to governmental action which is controlling, restrictive and punitive. In other words, policies which are authoritarian. In the UK, as a response to concerns over migration, the following tendencies have been seen which can be described as more authoritarian (Russell, et al., 2026):

- expanding executive discretion and weakening scrutiny, especially the role of Parliament in scrutinising the Government;
- restricting protest and public assembly (although there are calls for this to go further, there is a reluctance to do this);
- extending surveillance, stop-and-search and public-order powers;
- making citizenship and residence increasingly difficult – longer time periods, other conditions, etc.;
- delegating immigration enforcement to employers, landlords, banks and public services.

The response to concerns about migrants can be a vicious circle for the Government. Vasilopoulos, et al. (2025) found that the responses, rather than ameliorate concern in the population, instead keep the topic in the public eye, so exacerbating the political problem. Furthermore, policies adopted, while increasingly authoritarian, would never be sufficient to satisfy the far right, so provoking a repeated backlash and again keeping the topic alive. Politically, doing a little can be worse than doing nothing. In fact, the right may argue for policies which are not possible. An example is a demand that the UK should tow boats arriving with migrants back to France. This is illegal (UK authorities cannot operate in French waters). The UK Government has made this clear. The French Government has made this clear. However, the right still demands it and, therefore, the UK Government is portrayed as “not doing enough”.

An interesting question is, if public opinion in the UK is divided over its attitude to migrants, why is there an increasingly authoritarian response by Government? This may be explained by the strength of feeling by different sides of the debate. Those who want to stop (or send back) migrants tend to be more passionate than those who are content with migration. Those who are content might not seek draconian measures to stop migration, but many do not actively work to stop those measures. From a politician’s perspective, they might win the vote of one side,

without losing the vote of the other side. There is a limit to this, however. Migrants are critical to the working of the UK economy and public services. If migration were stopped so overseas nurses and doctors could not come, the Health Service would collapse and very quickly those more supportive of migration would be passionately campaigning. There is, therefore, a balancing act for politicians, but in general it is less politically risky for them to offer an authoritarian response.

Conclusion

Migration, identity, integration and authoritarianism in the UK are best understood as interconnected but not synonymous processes. Migration changes the social and cultural composition of Britain, which can prompt questions about who belongs, what constitutes British identity, and how far newcomers should adapt to established norms. However, British identity itself is not fixed or uniform. It has increasingly been understood in civic terms rather than purely ethnic or cultural terms, potentially making room for newcomers while retaining a strong attachment to national institutions and traditions. Integration consequently operates in both directions. Where integration is perceived to be successful, diversity need not be understood as incompatible with national identity; where it is perceived to be unsuccessful, however, questions of cultural difference, social cohesion and national boundaries can become more politically important.

Authoritarianism adds another dimension because attitudes towards migration are partly associated with preferences for social order. However, while the UK Government has introduced more authoritarian measures to address migration and there is increasing activity by the right to push for more, the overall attitude of the public is more fluid – with some sections having positive attitudes to migration.

In general, it can be argued that rapid social and demographic change can be a threat to the political status quo in a country. This has generally been the case in the past with shifts in population within the UK, urbanisation, growth of the working class, of the middle class and some immigration changes. In some cases, these developments have challenged the political system to make it more liberal and democratic. In other cases, there may be an authoritarian response. Interestingly, the effect may be similar whether there is real change or perceived change (which is an important lesson with today's online communications).

The situation in the UK on all aspects of migration, identity, integration and Government responses is, in conclusion, rapidly changing. It is useful to examine what has happened in the UK and what is happening today, drawing lessons from this. However, the context of different countries is different, and care should be taken in making any extrapolations.

REFERENCES

- Buarque, B.L. & Lewis, N. (2026), "Algorithms at your service". The British Journal of Politics and International Relations. 28(2). <https://doi.org/10.1177/13691481251391636>
- Burscher, B. et al. (2024), Understanding anti-immigration sentiment spreading on Twitter, PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307917>
- Curtice, J. & Scholes, A. (2024), British Social Attitudes 41: National Identity. [British Social Attitudes | National Centre for Social Research](#)
- Dennison, J. (2022). A review of experimental evidence of how communication affects attitudes to immigration. Comparative Migration Studies 10, <https://doi.org/10.1186/s40878-022-00310-3>
- Dennison, J. (2026). Immigration threat perceptions: Experimental evidence of causes and consequences, Migration Studies, 14(2), <https://doi.org/10.1093/migration/mnag018>
- Duffy, B. (2026). London has fallen? Misperceptions of crime, race, religion and life in the UK capital, King's College London. [london-has-fallen-misperceptions-of-the-uk-capital.pdf](#)
- Eurostat (2026). Crime Statistics. [Crime statistics - Statistics Explained - Eurostat](#)
- Foreign Affairs Committee of Parliament. 2026. Disinformation diplomacy: How malign actors are seeking to undermine democracy. [Disinformation diplomacy: How malign actors are seeking to undermine democracy](#)
- Greater London Authority (2025). Violent crime leading to injury falling in every London borough. [Violent crime leading to injury falling in every London borough | London City Hall](#)
- Humphrey, A., Wilson, H. and Ford, R. (2024) British Social Attitudes 41: Immigration – Changing attitudes, policy preferences and partisanship. London: National Centre for Social Research. [British Social Attitudes 41 | Immigration | National Centre for Social Research](#)
- Intelligence and Security Committee of Parliament. 2020. Russia. [HC 632 – Intelligence and Security Committee of Parliament – Russia](#)
- Jayaweera, H. & Choudhury, T. (2008), Immigration, Faith and Cohesion. COMPASS. [Immigration, Faith and Cohesion. Evidence from Local Areas with Significant Muslim Populations | COMPAS](#)
- Kaufmann, E. (2017). Levels or changes?: Ethnic context, immigration and the UK Independence Party vote. Electoral Studies. August 2017. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.05.002>
- Kierans, D. (2021), Integration in the UK: Understanding the Data, Migration Observatory, University of Oxford. [Integration in the UK: Understanding the Data - Migration Observatory](#)
- Menshikova, A and van Tubergen, F. (2022). What Drives Anti-Immigrant Sentiments Online? A Novel Approach Using Twitter, European Sociological Review, Volume 38, Issue 5, October 2022, Pages 694–706, <https://doi.org/10.1093/esr/jcac006>

Metropolitan Police (2026). Violence crackdown drives London's homicide rate to record low. [Violence crackdown drives London's homicide rate to record low | Metropolitan Police](#)

Modood, T. (2003). New Forms of Britishness: Post-Immigration Ethnicity & Hybridity in Britain. In R. Sackmann, B. Peters, & T. Faist (Eds.), *Identity & integration: Migrants in Western Europe* Ashgate Publishing Ltd..

Munk, T. & Ahmad, J. (2026), "When lies go viral: social media and the 2024 UK riots", *Safer Communities*, 25(2), 154–176. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2025-0057>

ONS (2022) Office for National Statistics, UK population by country of birth and nationality; International migration, England and Wales: Census 2021. [International migration, England and Wales - Office for National Statistics](#)

ONS (2025). Long-term international migration, provisional: year ending June 2025. Office for National Statistics. [Long-term international migration, provisional - Office for National Statistics](#)

ONS (2026). Ethnic group, England and Wales: Census 2021. Office for National Statistics. [Ethnic group, England and Wales - Office for National Statistics](#)

Peresman, A., Carroll, R., & Bäck, H. (2023). Authoritarianism and Immigration Attitudes in the UK. *Political Studies*, 71(3), 616–633. <https://doi.org/10.1177/00323217211032438>

Russell, M., Renwick, A. and James, L. (2022). What is democratic backsliding, and is the UK at risk? The Constitution Unit, UCL. [backsliding.pdf](#)

Sambaraju, R. & Kirkwood, S. (2026), "Mobilising 'British values' talk in discussions of the August 2024 UK race riots", *British Journal of Social Psychology*. 65(3). <https://doi.org/10.1111/bjso.70093>

Schwartz, C., Simon, M., Hudson, D. and van-Heerde-Hudson, J. (2021). A Populist Paradox? How Brexit Softened Anti-Immigrant Attitudes, *British Journal of Political Science*, 51(3), pp. 1160–1180. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000656>

Smellie, S. (2022), *Migration narratives in media and social media: The case of the UK*, University of Edinburgh Working Paper. [Migration narratives in media and social media: the case of the United Kingdom](#)

Vasilopoulos, P., Robinson, J. (2025). Authoritarianism, Political Attitudes, and Vote Choice: A Longitudinal Analysis of the British Electorate. *Political Behavior* 47, 503–527 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09961-7>

Wischerath et al. (2026), "Indirect mobilisation and violence legitimisation through influencers on alternative platforms", *British Journal of Social Psychology*. 65(2). <https://doi.org/10.1111/bjso.70079>

Annex: Questions for Students to Consider

Introduction

The topics explored in this chapter raise many questions. Further, the answers to those questions will be different when considered from the perspectives of different countries. More importantly, the answers to the same question may change

over time and answers will vary from individual to individual. It is, therefore, useful for students to think about the questions set out below. How would they answer them? How do they think others would answer them? What evidence do they need to come to a sensible answer?

Integration

- What do we actually mean by “integration”? Is it economic participation, social interaction, cultural assimilation, political participation, or a sense of belonging?
- Who decides what successful integration looks like? The majority population, minority communities, government, or individuals themselves?
- Can a community be both culturally distinct and well-integrated?
- What evidence would demonstrate that integration is increasing or decreasing?
- Are there differences in integration between the first, second and third generation migrants? Why might these occur?
- Does socioeconomic inequality make cultural integration more difficult?
- Does living in ethnically concentrated neighbourhoods necessarily indicate poor integration?
- Do younger generations have different attitudes towards identity and integration from their parents and grandparents?
- What role do schools, universities, workplaces and sport play in bringing communities together?
- Is integration a two-way process? Should minority communities adapt to the wider society, should the majority society adapt to minorities, or both?

Digitalisation, social media and integration

- Has social media increased contact between different ethnic communities, or has it enabled people to live in increasingly separate information environments?
- Does social media expose people to different cultures, or mainly reinforce the views they already hold?
- How do algorithms influence what people see about immigration, ethnicity and cultural change?
- Are negative stories about ethnic minorities more likely to become visible online than ordinary examples of successful integration?
- How significant are misinformation and conspiracy theories in shaping attitudes towards ethnic communities?
- Does online anonymity make people more willing to express prejudice?
- Can social media strengthen minority communities by providing networks, political representation and cultural visibility?
- What evidence would allow us to determine whether social media is causing changes in attitudes rather than simply reflecting them?

Authoritarianism and integration

- What do political scientists mean by “authoritarianism”?
- What evidence would demonstrate an increase in authoritarian attitudes among the public?
- Are demands for stronger immigration controls necessarily authoritarian? Why or why not?
- Can people simultaneously support democratic institutions and favour more authoritarian policies in particular circumstances?
- Is authoritarianism primarily about attitudes towards ethnic minorities, or can it also involve attitudes towards protest, free speech, policing and political opposition?
- Are younger people necessarily less authoritarian than older generations?
- Could perceptions of rapid cultural change produce greater demand for social order and stability?

Cultural change and identity

- What aspects of national culture have actually changed, and what evidence demonstrates this?
- Is cultural change necessarily the result of immigration? What other forces might be responsible?
- How do migrants themselves contribute to changing national culture?
- Which cultural changes are widely accepted, and which generate resistance? Why?
- Does cultural diversity weaken a shared national identity, or can national identity incorporate greater diversity?
- Can there be multiple identities simultaneously?
- How does identity differ between generations and ethnic groups?

Возвращаясь к вопросу о происхождении нации

Анджей Вежбицки

Аннотация Автор данной статьи предпринимает попытку сравнительного анализа конструктивистских и антиконструктивистских теорий нации. Подчеркивается, что дихотомия присутствующая в научных исследованиях не представляет удовлетворительного ответа на вопрос происхождения данного феномена. Обращается особое внимание на недостаточно распространенный в научной литературе социологическо-исторический подход, суть которого сводится к эволюционному пути, в котором сочетаются как примордиалистское убеждение об естественном, натуральном возникновении нации, так и ее модернистское конструирование.

Введение

В изучении происхождения нации в научном дискурсе присутствуют две, в основном противоположные парадигмы. Сторонники первой, называемой примордиализмом, убеждены в «древности» и «натуральности» изучаемых наций, началом которых стали существующие «испокон веков» народы (этноты). Национальная принадлежность имеет объективный характер и появляется с момента рождения человека, у которого нет возможности ее поменять [1, с.189].

В современной науке распространился конструктивистский подход, соответственно которому, нации являются результатом спланированной и преднамеренной конструкции элит в условиях современности. Национальная принадлежность имеет субъективный характер и у человека есть возможность ее выбора [2, с. 7].

Иностранный исследователь изучающий данную проблему в Казахстане и других евразийских странах сталкивается с унаследованным от советской эпохи примордиалистским подходом, который до сих пор вдохновляет многих местных ученых. Свобода научных исследований и неограниченный доступ к источникам привели к тому, что часть местных исследователей увлеклась конструктивизмом [3, с. 67].

Автор данной статьи не претендует ни на тотальную критику признанных в общественных науках парадигм, ни на «изобретение» новой теории нации. Настоящая статья направлена на то, чтобы показать другие возможности выяснения происхождения нации, которые вполне можно признать «компромиссом» между конструктивизмом и антиконструктивизмом, а возможно также пригласить к дискуссии на данную тему.

Ни одна из указанных выше парадигм не дает удовлетворительного и исчерпывающего ответа, касающегося объяснения происхождения нации. Вопросы такого рода следует рассматривать в индивидуальном порядке, с учетом особенностей каждого конкретного случая. Конструктивистское убеждение в том, что нация является «изобретенной традицией», нельзя

назвать полностью лишенным оснований. Однако следует помнить, что это конструирование или «изобретение» наций происходит – как выразился сторонник такого подхода Эрик Хобсбаум – на основе исторического материала, состоящего из территории, языка, прошлого, культуры, а иногда и этнической однородности [4, с. 220]. Отдельные нации формировались в разные периоды, и дать какое-то определенное обобщение этого процесса крайне сложно. Убеждение в том, что идея нации зародилась в XVIII веке в эпоху Просвещения и увенчалась ее суверенизацией в результате французской революции, укоренилось под влиянием модернизма и конструктивизма. Можно, следовательно, принять, что «ошибка конструктивистов заключается не в том, что они признали современные нации и национализмы результатом социального конструктивизма, а в том, что они сочли произведением такого конструктивизма все нации и национализмы» [5, с. 135, 148-158]. Удовлетворительного ответа на вопрос – когда и каким образом формируются нации – не приносит также примордиализм. Убеждение о том, что все нации существуют «испокон веков», «с незапамятных времен», не подтверждается применительно к нациям, сформированным на основе мигрантов.

Если ни одна из выше указанных парадигм не приносит удовлетворительного, повсеместно признанного ответа на вопрос – когда и каким образом формируются нации – возможно ли вообще в современной науке найти данный ответ? Вполне удовлетворительного ответа к сожалению не существует, но есть концепции, которые предпринимают попытку справиться с этой проблемой.

Необходимо отметить, что в данной статье под термином «нация» мы будем последовательно понимать сочетание культурных и политических факторов, сосуществование и взаимозависимость культуры и политики, взаимопроникновение этнических и политических связей [6, с. 48], как группа людей, соответственно дефиниции Макса Вебера «объединенная общностью языка, вероисповедания, обычаев или судьбы, чьим общим предназначением является существующая либо составляющая цель ее устремлений политическая власть над определенной территорией» [7, с. 317]. Другими словами, хотя «нация» и «народ (этнос)» имеют много общего и как утверждает Энтони Д. Смит принадлежат к одной и той же категории коллективных культурных идентичностей, нация отличается от народа (этнуса) стремлением к самостоятельному существованию (самоопределению) как в культурном, так и в политическом смысле – в форме автономии (культурной, территориальной) или государственного суверенитета [8, с. 24-27]. Возникновение нации – это процесс, в котором точкой отсчета является этничность. В зависимости от принятой парадигмы, она может рассматриваться как основа нациестроительства в виде антропологического и демографического связующего звена или же игнорироваться как малозначимый элемент. Этническая принадлежность, как и нация, считается «искусственным социальным конструктом», результатом сознательной деятельности политических элит. Иными словами, в крайнем конструктивистском варианте нации возникают на «пустом месте» как

следствие рациональной потребности современных государств, стремящихся к организации, упорядочению, мобилизации и объединению своего населения.

В континентальных государствах (Европа, Азия), где ядром нациообразующих процессов было автохтонное население, являющееся во многих случаях доминирующим титульным этносом и веками населяющее данную территорию, более обоснованным может быть принятие антиконструктивистской перспективы в качестве парадигмы возникновения наций. Для объяснения происхождения европейских наций конструктивизм теряет свой смысл, даже учитывая приписываемую ему модернистскую детерминанту, поскольку этнические и социальные основы большинства европейских наций – не только в западной части континента – начали формироваться еще в Средние века. Таким образом, это не было *creatio ex nihilo*. Использовался существовавший ранее материал, даже если его существование маргинализировалось.

В то время как в заморских государствах, где нациообразующий процесс определялся пришлым населением в Новое время, более обоснованным является применение конструктивистской парадигмы. Это же касается и постколониальных государств в Латинской Америке и Африке. Убеждение в извечном, естественном существовании нации «с незапамятных» времен более применимо к европейским нациям, но также не дает нам удовлетворительного ответа. Это обусловлено двумя причинами. Первая – это перенесение *ex ante* современно известной и понимаемой категории нации на древние или средневековые общности, что называют ретроспективным национализмом. Вторая – это трудность с точным определением перспективы «незапамятных времен».

Если принять политико-культурный критерий, ссылаясь на так называемые классические примеры, то нация, считающаяся конструируемой, будет результатом сознательной и относительно недавней деятельности общественных элит (Франция, США, Австралия), в то время как в случае нации, в возникновении которой доминируют элементы культуры (Германия, Италия), нас будут убеждать в их долгосрочном и почти извечном существовании [9, с. 272-273]. Даже конструируемые нации имеют свою этническую основу, например, в США (White Anglo-Saxon Protestants – WASP), которая со временем играет роль *societal culture*, объединяющей всех граждан. На самом деле в идеальном виде наций, признаваемых политическими, то есть конструируемыми, как и наций, признаваемых культурными, то есть формирующимися более естественным путем, не существует. Этническая солидарность (этническая связь) и гражданство (политическая связь) взаимно проникают друг в друга. Каждая из ныне существующих национальных общностей возникла в результате появления культурных и политических нациообразующих факторов. Разница между данными типами наций сводится к их первичной или вторичной роли в нациообразующем процессе.

«Альтернативами» по отношению к конструктивизму, которые мы обсудим дальше являются – этносимволизм, домодернистская нация и эволюционизм.

Антиконструктивизм

Антиконструктивизм сегодня является менее популярной теоретической ориентацией в исследовании нации. Как и противоположный ему конструктивизм, он не представляет собой однородного течения. Общим знаменателем антиконструктивистов является убеждение в том, что нации не выступают результатом намеренной или спонтанной проекции людей, будучи явлением неразрывно связанным с историей человечества и существующим, едва ли не «с незапамятных времен». Модернизация, таким образом, является нейтральным процессом с точки зрения возникновения нации.

Сторонники этносимволизма – немодернистского, но и не обязательно радикально антиконструктивистского течения, ссылающегося на этнические основания наций, признают значение современности и конструирования «сверху» в процессах нациеобразования («тройная западная революция» [10, с. 195-199], согласно концепции наиболее характерного представителя этого течения Энтони Д. Смита). Однако их нельзя считать конструктивистами, поскольку они подчеркивают роль «досовременных этнических формирований», в которых можно обнаружить «исторический депозит коллективного опыта». Этнос присутствует в нации в символической форме в виде «нарратива» о ней. Поэтому существование многих современных национальных общностей невозможно объяснить без ссылки на более ранние этнические связи и воспоминания. Феномен нации нельзя свести к «чистой» конструкции правящего слоя или шире – социальных элит. Нация, согласно этносимволизму, не конструируется, а возникает в результате развития этносов, которые становятся основой будущих наций, часто объединяя вокруг себя другие, более мелкие и слабые в демографическом и культурном отношении общности [11, с. 12-14].

Именно этничность, существовавшая ранее в Средние века и даже в древности, дает начало нациям. Нации берут свое начало в более ранних формах, называемых этносами (этниями), которые, хотя и отличались качественно во многих измерениях от современных наций, благодаря развитию в долгосрочной перспективе дали начало современным нациям: «Большинство наций, в том числе первые нации на Западе, сформировались вокруг этнического ядра – доминирующих популяций, связанных предполагаемыми узами общего происхождения и локальной культуры, которые постепенно расширяли свою социальную структуру, территорию и геополитическое воздействие вокруг этого доминирующего этнического ядра и группы предполагаемого происхождения, включая в себя другие этнические популяции (...)» [11, с. 13]. Этния (этничность) понимается создателем и наиболее репрезентативным представителем этого течения Энтони Д. Смитом в узком и широком значениях. В первом случае речь идет о происхождении – реальном, биологическом или же предполагаемом, основанном на вере и

мифе. В более широком смысле этничность включает в себя, помимо происхождения, и другие признаки, такие как коллективное имя (этноним), общий миф о происхождении, общая история, исключительная и разделяемая культура, связь с определенной территорией и чувство солидарности, главным образом элит. Э.Д. Смит называет их определяющими измерениями этнии.

Ключевой для этносимволического понимания истоков нации является категория «длительное время» (фр. *longue durée*) социальных, политических, культурных и экономических процессов, в результате которых рождается нация. Согласно этому исследовательскому направлению, возникновение и развитие этноса, то есть этногенез, по сути, может рассматриваться как этап нациеобразовательного процесса. Из определения этноса следует, что этносимволизм ссылается к этнической «укорененности» наций, их территориализации, общему культурному наследию и так называемому мифо-символическому комплексу, составляющему мифологию. Отсюда возведенное таким образом «национальное здание» можно считать более прочным благодаря его «глубокому фундаменту» и использованному «строительному материалу».

Этносимволисты не отрицают роль модернизации в формировании наций. Более того, они считают, что она играет существенную роль в их развитии и трансформации. Этнос не обязательно должен присутствовать в нации как человеческая общность, состоящая из прямых потомков ранее существовавших общностей вместе с теми, кто присоединялся к ним на протяжении истории. Достаточно того, что этнос присутствует в нации в символической форме в виде «нарратива» о ней. В связи с этим существование многих современных национальных общностей невозможно объяснить без ссылки к более ранним этническим связям и воспоминаниям: «Нация может быть современным социальным формированием, но в некотором смысле на основе ранее существовавших культур, идентичностей и наследия» [11, с. 175]. Некоторые исследователи анализируемой проблемы проводят различие в теоретическом подходе к этносу и нации. Они считают, что если сам этнос (этния) как самая простая, архаичная форма общества имеет органическое и почти первобытное происхождение с самого начала существования человечества, то он не обладает силами (элитами), которые могли бы конструировать нацию из этнического материала. Напротив, нация, несмотря на то, что она является производной этноса, представляет собой искусственную конструкцию и не может напрямую отождествляться с этносом, поскольку этнос – это общность как община (*Gemeinschaft*), а нация – как общество (*Gesellschaft*) [12, с. 64].

В духе этносимволизма была сформулирована культурологическая теория нации польским социологом Антониной Клосковской. Она определяет нацию как «человеческую общность, объединенную культурной идентичностью, способствующей взаимному пониманию и определенному

единению ее членов» [13, с. 8]. Именно культура* как сообщество коммуникации определяет существование нации. На ее основе формируется национальная идентичность, чувство обособления «мы» – «они».

Становление нации заключается во внутренней унификации культуры, расширении масштабов участия в ее универсуме как по вертикали – классово-слоевой так и по территориальной горизонтали, стремясь охватить как все социальные слои, так и все регионы данной территории, не обязательно организованной в государство: «Данный процесс должен заключаться в преодолении или, по крайней мере, снижении барьера сословных и классовых различий, хотя бы в сфере распространения элементарного содержания канона культуры, что, в свою очередь, связано с признанием национальной общности всех классов или сословий» [13, с. 68]. Унификация культуры, как подчеркивает польский социолог, никогда не достигает полной гомогенности. Она считает, что культура не является неизменной, она подвержена трансформациям, но имеет ядро, называемое каноном†, благодаря чему передается следующим поколениям. Основой национальной культуры является так называемая высокая культура (литература, музыка, искусство), в которую встраиваются и адаптируются элементы народной культуры. Ее созданием и пропагандой среди масс занимаются интеллектуальные элиты. О такой культуре мы можем говорить, что она носит национальный характер, когда она будет принята всеми социальными слоями и классами.

Как этносимволизм, так и культурологическую теорию нации можно рассматривать как попытку компромисса между извечным и современным происхождением наций, между их извечностью и искусственным конструированием, попытку преодоления сложившейся дихотомии в исследовании нации, поскольку А. Клосковска утверждает, что: « (...) нации не возникали сразу в современной форме больших, опосредованных лишь символически общностей, что они не охватывали своей общностью сразу все великие государственные общества, что национальное унификация продвигалась медленно» [13, с. 58]. Однако это происходило не само по себе, а через «действия людей, создающих и передающих, принимающих и реализующих культуру в своем внутреннем переживании и внешних действиях». Таким образом, А. Клосковска, ссылаясь на культурную преемственность нации, не отвергает элементы конструктивизма в ее формировании, обращая внимание на то, что в целом нации не возникали исключительно на основании одного этноса‡. Однако доминирующая

* Она обладает своим универсумом (пол. *uniwersum*) – родиной в символическом смысле, выходящем за рамки ее территориального понимания, а также синтагмой – внутренним сцеплением элементов. Осознание связи с родиной обуславливает национальную идентичность, чувство самобытности собственного народа и близости его культуры.

† Образцы действий и ценности, выражающие коллективную идентичность нации.

‡ Следует отметить, что этничность в культуралистской концепции нации понимается как культурное родство, наследуемое последующими поколениями через верность канону культуры. Невозможность сохранения биологического происхождения заменяется интегрирующей верой в общее происхождение: «„Право крови“ как метафорический принцип, определяющий национальную принадлежность, означает, по сути, генеалогическую преемственность, которая (...) дает шанс на передачу коллективного культурного наследия».

этничность навязывала остальным свою нациеобразующую роль посредством выделенных элементов своей культуры, таких как мифы о происхождении, легенды или традицию, которые могли быть изобретены. Функционируя в реальности, она создавала реальную общность, разделяющую общие, коллективные представления. Становление нации, следовательно, возможно без участия политико-идеологического фактора в виде государства и его аппарата, но появление территориального политического организма значительно облегчает и ускоряет этот процесс. На этот факт указывал, среди прочих, Флориан Знанецки, отмечая, что «в государстве национальное общество достигает своего наиболее полного единства; посредством государства оно может навязать обязанность солидарности всем своим членам и сконцентрировать свои силы в случае борьбы с другими национальными группами; с помощью государства оно может создавать лучшие и наиболее прочные институты для сохранения старых и создания новых культурных ценностей» [14, с. 21].

Альтернативой конструктивизму, которая в определенной степени послужила источником вдохновения для этносимволизма является также концепция домодернистской нации, выдвинутая американским историком Джоном Армстронгом, автором относительно малоизвестной монографии *Нации до национализма* (англ. *Nations before Nationalism*). Д. Армстронг доказывает, что нации появились еще в домодернистскую эпоху, в частности, в средневековой Европе. Основой их существования были как объективные так и субъективные символы, формирующие этнические границы в большей степени в сознании, чем физически или картографически. Они являлись своеобразными сигналами для членов той же этнической общности или членов других групп. Устойчивость этих символов, как указывает Дж. Армстронг, «часто важнее, чем начальная точка нации в прошлом» [15, с. 7-8]. Эти символы, существующие естественным образом (язык) или созданные людьми (состояние сознания, жесты, искусство) и подвергающиеся трансформациям в ходе исторического развития, указывают на то, что, с одной стороны, этничность не является исключительной основой формирования наций, а с другой стороны, нации, признанные сконструированными, возникли не в вакууме. Таким образом, оказывается, что нации формировались уже в условиях, прямо противоположных модернизму, таких как: сословное общество, в котором отсутствует вертикальная интеграция и солидарность между сословиями и горизонтальная интеграция и солидарность между территориальными сообществами, децентрализованное государство и отсутствие единого, кодифицированного языка. Фактором, связывающим население в национальную общность на основании как объективных, так и субъективных факторов был институт монарха, символизирующий вертикальное и горизонтальное политическое единство, религия (христианство), обеспечивающая идеологическое единство и территория под властью монарха. В условиях религиозного многообразия общества роль в национальном строительстве играла, прежде всего, религия этнического большинства. Что касается территории, то не имело значения, носила ли

монархия патримониальный характер или существовало разделение между «двумя телами короля». Однако наличие данных факторов не гарантировало автоматического возникновения национальной общности. Должна существовать способность всех сословий и территориальных групп признать превосходство интересов всей национальной общности, объединенной вокруг личности монарха и института королевской власти, и населяющей единую территорию. Это проявлялось в готовности жертвовать и действовать на благо родины и нации, например, в виде выполнения налоговых или военных обязательств посредством ополчения в отсутствие регулярной армии.

Из сказанного выше следует, что на самом деле невозможно получить исчерпывающий и удовлетворительный ответ на вопрос о происхождении всех наций. В отношении некоторых из них действительно можно признать, что они были в значительной мере сконструированы, хотя и не *ex nihilo* (лат. *из ничего*), тогда как другие опираются на досовременные этнические группы, прошедшие процесс модернистской трансформации. Оба типа наций эволюционировали, пусть и не всегда в строгом соответствии с принципами, определяющими ход такой эволюции. Сложность разрешения этой дилеммы усугубляется необходимостью ответить на еще один вопрос: может ли нация как коллективная общность прекратить свое существование и может ли отдельный представитель этой общности сменить свою национальную принадлежность? Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть однозначным и зависеть от выбранной точки зрения. С одной стороны, если исходить из того, что нация является сконструированным образованием, то она столь же легко может быть деконструирована как общность, что допускает возможность смены национальной идентичности для отдельных ее представителей. В рамках культурологической концепции нации изменение национальной принадлежности индивида, равно как и прекращение существования самой нации допускается, поскольку это не рассматривается как естественная, неоспоримая необходимость, а обусловлено культурными влияниями, способными к трансформации.

С другой стороны, если рассматривать нацию как исторически объективную, изначально существующую и автономную сущность, то денационализация или смена национальной идентичности представляется невозможной. Однако действительность не столь однозначна. История человечества знает примеры смены национальной принадлежности, хотя такое перевоплощение не обязательно должно быть полным. Многие современные общества представляют собой своего рода культурное пограничье, где сосуществуют различные культуры. Вследствие этого полное или частичное принятие иной национальной культуры или даже, двойная национальная идентичность становятся вполне реальными явлениями. И все же даже полное усвоение черт и ценностей другой нации не гарантирует успешного перевоплощения. Все зависит от того, признают ли нас теми, кем мы хотим быть. Одного лишь усвоения языка, культуры и ценностей определенной нации недостаточно; решающим фактором является то, примут ли нас другие члены этого сообщества как «своих».

Многие ученые, в т.ч. польский историк идей и философ Анджей Валицки, на примере польской нации обратил внимание на бессмысленность жесткого следования дихотомии «конструктивизм – примордиализм», навязываемой в рамках общественных наук. Он утверждал, что «нация – это продукт истории: она не существовала всегда, а сформировалась в ходе длительного процесса нациестроительства, определявшегося множеством факторов – как объективных, так и субъективных» [16, с. 413]. Нация, по его мнению, формируется в ходе процессов спонтанного отбора, адаптации и эволюции, а не в результате сознательного «конструирования». Узы, объединявшие жителей Польши эпохи Пястов в Средние века, не ограничивались лишь религиозной, сословной и династической лояльностью. В отличие от других стран того времени, Польша была этнически однородной страной. Ее правители были законными преемниками дохристианских племенных вождей, сознательно стремившимися объединить родственные племена в единое государство. Элиту, занимавшуюся государственным строительством, отличало понимание необходимости достижения единства на основе чувства национальной идентичности. Разумеется, возможности правителей влиять на коллективное сознание своих подданных были ограничены отсутствием средств массовой коммуникации и системы образования, в отличие от современности.

Политолог Рышард Скажински полагает, что нации или, по крайней мере, большинство из них, возникают в результате процессов, не зависящих от индивидуальной воли, а именно «путем формирования массовых конфигураций социальных отношений». «Нация не возникает вследствие активности какой-либо коллективной общности; напротив, она складывается и существует как результат процессов, которые не находятся под полным контролем ни одного отдельного человека» [17, с. 232, 241].

Чешский исследователь Мирослав Хрох представляющий историко-социологическую парадигму, которая сформировалась в контексте процессов, разворачивавшихся в Центральной и Восточной Европе, отмечает, что современная национальная общность представляет собой продолжение нации, сложившейся на государственной основе в эпоху раннего Нового времени или, возможно, еще в Средневековье [18, с. 8][§].

Происхождение казахской нации

Опираясь на представленные выше теоретические доводы, попытаемся рассмотреть процесс формирования казахской нации. Этот вопрос, безусловно, требует углубленного изучения. В данной статье мы можем лишь наметить определенный ход рассуждений и ограничиться определенными общими формулировками. Невозможно провести четкое разграничение в вопросе о том, имеет ли та или иная нация древнее происхождение или же она является искусственно созданной. Как примордиализм, так и конструктивизм

[§] Концепция М. Хроха сосредоточена на трехэтапном процессе становления, так называемых «малых наций», именуемых так парадоксальным образом, из-за отсутствия у них «историчности».

могут привести нас к крайним позициям. Казахи не существовали с незапамятных времен и не были созданы искусственно. Если бы мы приняли последнюю точку зрения, нам пришлось бы уступить сторонникам советской национальной политики, согласно которой возникновение казахской нации стало возможным благодаря предоставлению статуса союзной республики. И кем были бы нынешние казахи, если бы вместо этнотерриториального деления Центральной Азии советские власти сохранили Туркестанскую АССР – возможно, даже предоставив ей статус союзной республики?

В целом, я полагаю, что применительно к Евразии наиболее убедительным подходом является принятие концепции Дж. Армстронга, разумеется, с учетом специфики казахского образа жизни. Даже после прекращения существования Казахского ханства в сознании казахского народа сохранялось чувство особой идентичности, несмотря на деление на жузы, выделяющей казахов из соседних общностей как кочевых, так и оседлых. Более того, попытки сбросить иноземное господство (например, восстание Кенесары Касымова) могут свидетельствовать о характерных для той эпохи стремлениях утвердить политическую власть над определенной территорией соответственно дефиниции нации Макса Вебера. Это стало возможным лишь в первой половине XX века и в конечном итоге привело к созданию Республики Казахстан.

Выводы

Таким образом, предлагаемый нами вывод сводится к тому, что нации возникают в результате эволюции, которую не стоит однозначно отождествлять с эволюционизмом в общественных науках. Как подчеркивает польский социолог Петр Штомпка, ключевым понятием для идеи эволюции, лежащей в основе эволюционизма в социальных науках, является рост, понимаемый как процесс увеличения, расширения, усложнения и дифференциации [19, с. 104]. Процесс государственного строительства, безусловно, отвечает трем из пяти характеристик роста, выделенных им, таких как: 1) развитие зарождающихся тенденций, присущих данному объекту и присутствующих в нем с самого начала; 2) однонаправленный и необратимый характер; 3) непрерывный ход процесса, который невозможно остановить; 4) постепенный, кумулятивный, поэтапный характер протекания; 5) прохождение через определенные стадии и фазы [19, с. 104]. Независимо от того, является ли главным нациеобразующим фактором политическое или культурное объединение, ядром нации выступает этническая общность, порой находящаяся на стадии племенного развития и обладающая «рефлексивным ощущением языково-этнического единства в рамках конкретных, уже существовавших, исторически сложившихся территориальных общностей и правовых институциональных структур» [20, с. 42]. Данная общность, исторически сформировавшаяся под воздействием различных политических, культурных и социально-экономических факторов, постепенно проходит последовательные этапы интеграции и консолидации, каждый из которых качественно выше предыдущего, трансформируясь в этнос, народность и, в

конечном счете, в нацию. Этот процесс может быть остановлен так же, как это произошло в СССР, где процессы нациестроительства, поначалу ускорившиеся, впоследствии были заморожены. Убежденность в исторической необратимости того или иного процесса может порождать неоднозначные оценки. Как правило, общности, сформировавшиеся как нации в рамках внутригосударственного и международного общественно-политического ландшафта, не перестают быть нациями и не проявляют стремления положить конец своему существованию. Таким образом, с одной стороны, складывается впечатление, что запущенный процесс можно лишь временно приостановить, однако в будущем он неизбежно возобновится с новой силой. С другой стороны, как правило, под воздействием внешних, экзогенных условий и сил (то есть не зависящих от воли самой нации) предпринимаются попытки «денационализации», увенчивающиеся переменным успехом (например, в случае с поляками в период разделов Речи Посполитой, европейскими народами в составе многонациональных монархий на рубеже XIX–XX веков и т.д.). Это подкрепило бы убежденность конструктивистов в том, что нации, будучи продуктом созидания, поддаются и деконструкции. Следовательно, наиболее точно процесс нациестроительства можно охарактеризовать как обладающий чертами эволюции, все же не вполне ей тождественным. Процесс нациестроительства, несомненно, обладает признаками социальных изменений, поскольку предполагает качественные сдвиги, в частности, прохождение различных стадий развития, происходящие с течением времени в рамках одной системы, которую можно определить как этнос. Учитывая, что отдельные нации претерпевают эти изменения уникальным образом, а не следуя универсальным законам развития, данный процесс лучше всего рассматривать сквозь призму неозволюционизма.

Список использованных источников:

1. «Нация формируется на основе коллективного самосознания, определяемого такими факторами, как рождение на конкретной, четко очерченной территории, проживание на этой территории или происхождение от лиц, проживавших на ней». Shils E. Nation, Nationality, Nationalism and Civil Society // E. Shils. The Virtue of Civility. Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society. Edited by Steve Grosby. - Indianapolis 1997.
2. «Простая категория людей (скажем, жители определенной территории или носители определенного языка) становится нацией тогда и только тогда, когда входящие в нее лица твердо признают наличие у них взаимных прав и обязанностей, обусловленных самой принадлежностью к этой категории. Именно взаимное признание друг друга «своими» в этом смысле превращает их в нацию, а не какие-либо иные общие признаки – каковы бы они ни были, отличающие эту категорию от тех,

- кто в нее не входит». Gellner. E. Nations and Nationalism. - Oxford and Cambridge 1983.
3. Кадыржанов Р. Социально-культурные основания национального строительства в Казахстане. - Алматы, 2022.
 4. Hobsbawm E. Problemy z definicją nacjonalizmu [On nationalism] // O nacjonalizmie, tłum. A. Wojtasik i in., wstęp, wybór i opracowanie D. Sassoon. - Warszawa 2022.
 5. Польский политолог Адам Веломски также указывает, что до того, как произошла суверенизация французской нации, она уже существовала ранее как общность, объединенная монархией и католицизмом. Таким образом, ее возникновение не связано с революцией, в результате которой произошла лишь ее реконструкция. Wielomski A., Krytyka konstruktywizmu i teoria symbolizmu // M. Ziętek-Wielomska, A. Wielomski. Nowoczesność. Nacjonalizm. Naród europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. - Warszawa 2021.
 6. Wierzbicki A. Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna. - Warszawa 2014.
 7. Weber M. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej [Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie], przeł. i wstęp D. Lachowska. - Warszawa 2002.
 8. Smith A.D. Nacjonalizm [Nationalism], tłum. E. Chomicka. Warszawa 2007.
 9. Herder J.G. Myśli o filozofii dziejów [Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit]. T 1. - Warszawa 1962.
 10. Речь идет о расширении функций государства в западных странах, которое должно было проходить в три этапа. Первый этап был связан с переходом от феодализма к капитализму и вытекающими отсюда последствиями для экономической интеграции государства. Второй этап заключался в централизации и расширении администрации, а также во введении всеобщей воинской обязанности. В обоих случаях важную роль играл общий язык, на котором составлялись документы и отдавались приказы в армии. Суть третьего этапа заключалась в распространении единого национального языка через систему всеобщего образования, что привело к культурной унификации граждан. Smith A.D. Etniczne źródła narodów [The Ethnic Origins of Nations], przekł. M. Głowacka-Grajper. - Kraków 2009.
 11. Smith A.D. Myths and memories of the nations. - Oxford 1999.
 12. Дугин А. Этносоциология. - Москва 2011.
 13. Kłoskowska A. Kultury narodowe u korzeni. - Warszawa 2005.
 14. Znaniecki F. Upadek cywilizacji zachodniej. Wybór pism, Wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i opracowała A. Citkowska-Kimla. - Kraków 2023.
 15. Armstrong J. Nations before Nationalism. - Chapel Hill 1982.

16. Walicki A. Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny? // A. Walicki. Naród. Nacjonalizm. Patriotyzm, Kultura i Myśl Polska, Prace wybrane, t. I. - Kraków 2009.
17. Skarżyński R. Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie. - Warszawa 2011.
18. Hroch M. Małe narody Europy. Perspektywa historyczna [Małe narody Evropy], przekł. G. Pańko. - Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.
19. Sztompka P. Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny. - Kraków 2005.
20. Chlebowczyk J. O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.). – Warszawa-Kraków 1983.

ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС САЛАСЫНДАҒЫ ӨШПЕНДІЛІК ТІЛІ (ОҢТҮСТІК ӨҢІРЛЕРДЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ФОКУС-ТОП МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ) *

Айтымбетов Нүркен Ысқақұлы

Цифрлық коммуникацияларға негізделген заманауи қоғамдық пікірталастардың сипаты қазіргі уақытта елеулі өзгерістерге ұшырауда. Цифрлық технологиялардың дамуы қоғамдық пікір алмасудың жаңа форматтары мен мүмкіндіктерін қалыптастырып ғана қоймай, ақпаратты өндіру, тарату және тұтыну қарқынын айтарлықтай арттырды. Әлеуметтік желілер мен цифрлық платформалардың кеңінен таралуы пайдаланушыларға ақпаратты қысқа уақыт ішінде кең аудиторияға жеткізуге мүмкіндік береді.

Алайда, соңғы кездері цифрлық коммуникация кеңістігінде өшпенділік тілінің таралуы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Әсіресе әлеуметтік желілерде пікірлердің анонимділігі, ақпараттың жоғары таралу жылдамдығы өшпенділік сипатындағы пікірлердің кең аудиторияға тез таралуына қолайлы жағдай қалыптастырады. Жекелеген жағдайларда белгілі бір әлеуметтік топтар өшпенділік тілін қоғамдық пікірге ықпал ету, әлеуметтік топтар арасындағы қарама-қайшылықтарды күшейту немесе жалпы өз мүдделеріне жету құралы ретінде пайдалануы мүмкін. Осы тұрғыдан алып қарағанда, цифрлық кеңістіктегі өшпенділік тілінің таралуы тек коммуникациялық құбылыс ғана емес, қоғамдық пікірдің қалыптасуына және әлеуметтік тұрақтылыққа ықпал ететін фактор ретінде де қарастырылуы қажет.

Ағылшын тіліндегі «hate speech» термині қазақ тілінде «өшпенділік тілі», «алауыздық тілі», «дұшпандық тілі» және «ғадауат тілі» деген сияқты түрлі сөз тіркестерімен аударылып жүр. Оның мағынасы БҰҰ сайтында берілген ресми анықтамаға сәйкес: «адамға немесе адамдар тобына олардың кім екендігіне, яғни, дініне, этностық тегіне, ұлтына, нәсіліне, терісінің түсіне, шыққан тегіне, жынысына немесе өзге де сәйкестік белгілеріне байланысты кемсітушілік жасайтын немесе қорлайтын тілді қолданатын кез келген ауызша, жазбаша немесе мінез-құлық арқылы жүзеге асырылатын коммуникация түрі» ретінде айқындалады. Сонымен қатар, бүгінгі күнге дейін халықаралық адам құқықтары саласында «өшпенділік тілі» ұғымының жалпыға бірдей мойындалған әмбебап анықтамасы қалыптасқан жоқ екендігін айту қажет. Бұл тұжырымдама әлі де талқылану үстінде, әсіресе пікір білдіру және сөз бостандығы, кемсітпеу және теңдік қағидаларымен арақатынасы тұрғысынан нақтылық жоқ делінген [1].

Қазіргі ғылыми дискурста сөз бостандығының шекаралары мен өшпенділік тілін құқықтық реттеу мәселелеріне қатысты пікірталастардың дамуына танымал жаңазеландиялық және американдық ғалым Дж. Уолдрон айтарлықтай үлес қосты. 2012 жылы ғалым өзінің танымал «Өшпенділік

* Бұл мақала ҚР ҒЖБМ ҒК қаржыландыратын AP23489872 «Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі этносаралық қатынастардың мониторингі» атты гранттық ғылыми зерттеу жобасы шеңберінде дайындалды.

тілінің зияны» атты кітабын жарыққа шығарды. Ғалым өшпенділік тілі мәселесіне қоғамдық абырой тұрғысынан қарап, өшпенділік тілі қоғамдағы осал топтардың абыройына қауіп төндіреді деген пікір білдіреді. Сол себепті қазіргі демократиялық мемлекет сөз бостандығын қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар барлық әлеуметтік және этностық топтардың өкілдері өздерін қоғамдық өмірдің толыққанды қатысушылары ретінде сезіне алатын жағдай жасауға міндетті. Ол үшін ғалым өшпенділік тілін заңмен реттеуді ұсынады [2].

Алайда, кейбір демократияшыл ғалымдар өшпенділік тіліне қарсы заңды сөз бостандығын шектеу деп қарастырады. Сөз бостандығын қорғауды жақтайтын ғалымдардың бірі Эдвин Бейкер сөз бостандығын қорғауда автономия тұжырымдамасын ұсынады. Оның пікірінше, жеке тұлғаны, ерік бостандығын және автономияны құрметтеу әрбір адамға өз болмысын сақтауға және өзін өзгелерге танытуға мүмкіндік беруді талап етеді. Бейкердің көзқарасы бойынша, әрбір адамның өзін және өзінің құндылықтарын қоғамға еркін таныстыруына жағдай жасау үкіметтің атқаратын негізгі рөлі болып табылады [3].

Осылайша, батыстық ғылыми дискурста өшпенділік тіліне қатысты бірыңғай ғылыми консенсус қалыптаспаған және аталған ұғымды түсіндіруде әртүрлі ұстанымдар байқалады. Дж. Уолдрон [2], Кэтрин Гелбер және Люк Макнамара [4] бастаған ғалымдар өшпенділік тілі тек бір адамға ғана емес, толықтай қоғамдық абыройға нұқсан келтіреді. Мемлекет өшпенділік тіліне заңмен шектеу қою керек, себебі әлеуметтік желіде таралған арандатушылар азшылықтардың қауіпсіздік сезімін төмендетеді деген көзқарасты ұстанады. Келесі Надин Строссен [5], Эрик Хайнце [6] және т.б. ғалымдардың пікірлері бойынша өшпенділік тіліне тиым салу демократиялық қоғамда сөз бостандығына қауіп төндіреді. Нәтижесінде билік тарапынан цензураға, сын пікірлерге қысым жасауға алып келеді деген тұжырымды алға тартады. Сондықтан өшпенділік тілі табиғатынан күрделі құбылыс болып табылады.

Интернет қарқынды дамыған заманда көпэтносты қоғамдар үшін өшпенділік тілі мәселесі ерекше маңызға ие. Әсіресе, белгілі бір ұлттың немесе қауымдастықтың тілі, мәдениеті мен тарихына қатысты желілерде түрлі пікірлердің тарауы әлеуметтік наразылықты туындауына көп жағдайда себеп болады. Осыған байланысты этностық топтардың өздерінің күнделікті өмір тәжірибесінде өшпенділік тілінің таралуын және оны қабылдауын бағалауға, талдауға негізделген зерттеулер қызығушылық тудырады. Аталған бағыттағы зерттеулердің нәтижелері өшпенділік тілінің таралу тетіктерін кешенді түрде зерделеуге, сондай-ақ, оның алдын алу және таралуын шектеуге бағытталған тиімді шараларды ғылыми тұрғыдан негіздеуге мүмкіндік береді.

Осы орайда Қазақстан Республикасының көпэтносты құрылымы жағдайында өшпенділік тілінің алдын алу және таралуын шектеу мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты елдегі этносаралық келісімді қолдауға және азаматтық бірегейлікті қалыптастыруға негізделген. Қазақстан Республикасының заңнамасы ұлтаралық араздықты және тілдік кемсітушілікті

қоздыруға тыйым салады. Оған қарамастан соңғы жылдары орын алып отырған қоғамдық өмірді жаппай цифрландыру үрдістері, әлеуметтік желілердің белсенді қолданылуы негізінен онлайн кеңістікте тілге, этностық және тағы да басқа ерекшеліктерге қатысты пікірталастардың туындауына жол ашып отыр. Бұл үрдіс өшпенділік тілінің қоғам ішінде әртүрлі нысандарының пайда болуына жағдай жасайды. Оған жүргізілген сауалнама қорытындылары дәлел бола алады. Мәселен, интернетте респонденттердің іс жүзінде әрбір алтыншысы (16,7%) интернетте «өшпенділік тілінің» көріністеріне тап болғаны анықталды. Олардың ішінде әрбір оныншы респондент (9,7%) ұлтына байланысты «өшпенділік тіліне» қатысты жағдайларды атап өткен [7, б. 16].

Өшпенділік тілі тақырыбын зерттеуге қатысты отандық зерттеушілердің қызығушылығы соңғы жылдары артып келе жатқандығы байқалады. Е. Ормаханова [8], А.Қ. Таусоғарова, Л.О. Жолдасбек, Ф.Е. Сабырбаева [9] және т.б. осы тақырып аясында жарияланған еңбектердің басым бөлігі халықаралық құқықтық стандарттарға, лингвистикалық талдаулар мен әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізуге бағытталған. Ал өшпенділік тілін әртүрлі этностық топ өкілдерінің қабылдауы, олардың күнделікті қарым-қатынас тәжірибесі және осындай сипаттағы пікірлердің этносаралық қатынастарға ықпалын бағалауы мәселелеріне арналған еңбектер өте сирек кездеседі.

Осы бағытта жүргізілген сапалық зерттеулер жанжалды коммуникацияның туындау контекстін уақытында анықтауға, неғұрлым сезімтал мәселелерді және қатысушылардың пікір білдіру еркіндігін айқындауға мүмкіндік береді. Осы мақсатта ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтында орындалатын «Қазақстанның оңтүстік облыстарындағы этносаралық қарым қатынастың мониторингі» (2024-2026 жж.) ғылыми зерттеу жобасы аясында далалық зерттеу жұмыстары ұйымдастырылды. Далалық зерттеу жұмыстары 2026 жылдың мамыр-шілде айлары аралығында Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде (Түркістан облысы Сарыағаш қаласы, Жамбыл облысы Қордай ауданы, Алматы облысы Қонаев қаласы және Жетісу облысы Текелі қаласы) жүргізілді.

Зерттеу аймағы ретінде еліміздің оңтүстік өңірлерінің таңдалуы кездейсоқ емес. Себебі аталмыш өңір этномәдени әртүрліліктің жоғары деңгейімен және түрлі этностық қауымдастықтар өкілдерінің белсенді өзара іс-қимылымен сипатталады. Фокус-топқа жасы, жынысы, білім деңгейі және кәсіби қызметі бойынша ерекшеленетін бірнеше этностық топтың өкілдері қатысты. Респонденттерге фокус-топтың мақсаты мен міндетін алдын ала хабарлау арқылы және олардың әрқайсының келісімін алу арқылы ерікті түрде іске асырылды. Мұндай тәсіл күнделікті өмірде және цифрлық кеңістікте өшпенділік тілінің көріністеріне қатысты пікірлердің кең ауқымын қамтуға мүмкіндік береді. Сондықтан зерттеудің эмпирикалық базасын елдің көпэтносты тұрғындары мекендейтін оңтүстік өңірлерде жүргізілген фокус-топтық зерттеулердің материалдары құрайды.

Далалық зерттеулер жүргізу барысында өзара байланысты төмендегідей негізгі белгілерге ерекше назар аударылды: этносаралық қарым-қатынас

мәдениеті, тілдік мәселелер, әлеуметтік жағдай, желілерде өшпенділік тілінің таралу ерекшеліктері және оған қарсы іс-әрекеттер. Аталған әдіс қатысушылардың жеке пікірлерін тіркеп қана қоймай, сонымен қатар қоғамдық маңызы бар сезімтал мәселелер бойынша ұжымдық бағалаулардың, келісімнің немесе келіспеушіліктің қалыптасу үрдісін байқауға мүмкіндік берді.

Нәтижесінде фокус-топқа қатысқан респонденттердің пікірталастарының аудиожазбалары толықтай мәтіндік нұсқаға келтірілді. Келесі кезеңде алынған материалдар тақырыптық талдау әдісі арқылы жүйеленіп, зерттеу мақсатына сәйкес негізгі мазмұндық бағыттар бойынша қарастырылды. Респонденттердің пікірлері салыстырылып, олардың өшпенділік тілін қабылдауы, әлеуметтік желілердегі теріс және арандатушылық ақпаратқа көзқарасы, сондай-ақ этносаралық қатынастарға қатысты ұстанымдарындағы ортақ және ерекшеленетін пікірлер анықталды. Мұндай талдау тәсілі зерттеліп отырған топтағы өшпенділік тілін қабылдаудың негізгі аспектілерін және респонденттердің пікірлерінде қайталанатын мағыналық ұстанымдарды айқындауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар фокус-топқа қатысушылардың жеке мәліметтерінің құпиялылығын сақтау қағидаттары қатаң сақталды.

Фокус-топтық талдау нәтижелері респонденттердің басым бөлігі күнделікті өмірдегі офлайн коммуникация барысында кемсітушілік сипаттағы риториканың анық белгілері салыстырмалы түрде сирек байқалатынын атап көрсетеді. Мұндай сипаттағы пікірлер көбінесе Интернет кеңістігінде әлдеқайда жиі байқалады, өйткені желі қолданушыларына анонимділік деңгейі әлеуметтік шектеулерді әлсіретіп, неғұрлым агрессивті лексиканы ашық қолдануға ықпал етеді.

Респонденттердің пікіріне сәйкес қоғамдық маңызы бар оқиғаларды талқылау барысында этностық бірегейлік көбіне жағымсыз стереотиптерді, кемсітушілік мәндегі атауларды немесе жалпылама бағалауларды қолдануға негіз бола алады. Респонденттер өшпенділік тілінің таралуы көбіне тұрақты этносаралық қайшылықтармен емес, белгілі бір топтардың қоғамда резонанс тудыру мақсатында таралатынына назар аударды. Зерттеуге қатысушыларының пікірінше, интернеттегі жанжалды коммуникация жоғары деңгейдегі ситуативтілікпен сипатталады.

Қоғамда этносаралық сипатқа тән ақпарат пайда болғаннан кейін агрессивті пікірлердің саны күрт артады, алайда қоғамдық қызығушылықтың төмендеуіне қарай мұндай пікірлердің маңыздылығы да уақыт өте келе азаяды. Бұл үрдіс этносаралық сипаттағы шиеленісті жағдайлардың жеке тұлғалардың жинақталған наразылығы мен жағымсыз эмоцияларын білдіруіне түрткі болуы мүмкін екенін көрсетеді. Мұндай реакциялардың неғұрлым айқын көрініс табатын ортасының бірі әлеуметтік желілер болып табылады.

Жамбыл обл. Қордай ауылының тұрғыны, қазақ, ер адам, зейнеткер, 73 жаста: «Қордай оқиғалары кезінде әлеуметтік желілерде өте көп нәрселер жазылды. Түрлі қорлайтын пікірлер, айыптаулар таралды.

«Қазақтар шабуыл жасады», «жабайылар», «маргиналдар» деген сияқты және басқа да осындай ауыр сөздер айтылды. Адамдар бірден барлығын ұлтына қарай бөліп-жара бастады ...»

Жамбыл обл. Қордай ауылының тұрғыны, дүнген, ер адам, 35 жаста:
«Дүнгендер туралы да көптеген жағымсыз пікірлер айтылды. Олар – «наглый», «қай жерде тұрып жатқанын ұмытып кеткен» деген сияқты және басқа да көптеген сөздер жазылды. Екі тараптан да қорлау мен айыптаулар өте көп болды».

Фокус-топ қатысушыларының айтқандары цифрлық кеңістіктегі агрессияның тек виртуалды сипатпен шектелмейтінін, оның нақты әлеуметтік жарақаттар мен тарихи жадтағы үрейлерді қайта жаңғыртуға қабілетті екенін көрсетеді. Бұл жерде Дж. Уолдронның «өшпенділік тілі қоғамдық абыройға және осал топтардың қауіпсіздік сезіміне қауіп төндіреді» деген теориялық тұжырымы толық дәлелденеді. Желідегі «жабайылар» немесе «наглый» деген сияқты белгілі бір ұлт өкіліне танылған стереотиптер этносаралық қатынастардағы күнделікті өзара сенімді бұзып қана қоймай, әлеуметтік поляризацияның тереңдеуіне алғышарт жасайды. Яғни, интернеттегі ситуативті конфликтілердің өзі қоғамдағы бар латентті наразылықтарды сыртқа шығаратын «триггер» қызметін атқарады.

Алайда осыған ұқсас пікірлер әртүрлі этностық топ өкілдері арасындағы нақты қарым-қатынастардың нақты көрсеткіші бола алмайды, ол тек қоғам ішінде өзара сенімсіздікті қалыптастырып, әлеуметтік алшақтықты күшейтуі мүмкін. Дегенмен, фокус-топ қатысушыларының басым бөлігі шынайы өмірде адамдар ұлтына қарамай өзара құрмет нормаларын сақтауға ұмтылатынын атап өтті.

Фокус-топқа қатысушылардың басым көпшілігі қазіргі таңда өшпенділік тілінің таралуының негізгі кеңістігі әлеуметтік желілер мен мессенджерлер болып табылатыны туралы ортақ пікір білдірді. Қатысушылар ең көп атап өткен алаңдар қатарында жаңалықтар жарияланымдарының астында берілетін пікірлер (комментарийлер), Фейсбук, Телеграмм арналардағы талқылаулар, сондай-ақ Инстаграмм және Тикток платформаларындағы контенттер болып табылады. Респонденттердің пікірінше, дәл осы желілердің пайдаланушылары арасындағы пікірлер этникалық стереотиптерге, арандатушы пікірлер және халықтың әртүрлі топтарына қатысты жалпылама сипаттағы теріс бағалаулар барынша белсенді таралатын кеңістікке айналып отырғандығы айтылды.

Жамбыл обл. Қордай ауылының тұрғыны, дүнген, әйел адам, 67 жаста: *Шын мәнінде әлеуметтік желілерде таралатын пікірлер арасында жағымсыз пікірлер жиі кездеседі. Сол жерде адамдар жалған аккаунттардың көмегімен әлеуметтік желілерде этносаралық мәселелерді жиі көтереді.*

Түркістан обл. Сарыағаш қ-сы тұрғыны, қандас, әйел адам, 50 жаста: «Әлеуметтік желілерде жалған ақпараттар өте көп. Бірақ біз мұны білеміз. Әртүрлі ұлт өкілдерінің қалай өмір сүріп жатқанын, олардың арасындағы қарым-қатынастың қандай екені шамамен белгілі ғой, сондықтан кез келген ақпаратқа бірден сене бермейміз. Кейде тіпті адамдарды бір-бірімен араздастыру үшін мұндай ақпаратты әдейі таратуы мүмкін деп ойлаймыз.

Респонденттердің «жалған аккаунттардың» көмегімен этносаралық мәселелерді қасақана көтеруі мүмкін туралы айтылған пікірлері қазіргі цифрлық коммуникациялардың манипулятивтік сипатын айқын ашады. Желі қолданушыларының анонимділік пен эмоционалды контентті жоғары бағалауы – олардың жауапкершілігін төмендетіп, арандатушы күштердің қоғамдық пікірмен манипуляция жасауына жол ашады. Дегенмен, қатысушылар арасында бірнеше дереккөзді салыстырып, ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдауға тырысуы қоғамда иммунитеттің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Бұл ретте цифрлық кеңістіктегі өшпенділік тілі күнделікті өмірдегі этносаралық қатынастардың шынайы көрінісі емес, керісінше, сырттан немесе деструктивті топтар тарататын жасанды ақпараттар екендігін көрсетеді.

Жалпы таралатын ақпараттар арасында жанжалдық риторика, эмоциялық бағалаулар мен арандатушылық сипаттағы тұжырымдар қамтылған жарияланымдар айрықша назар аудартады. Мұндай мазмұндағы жарияланымдарға қоғамдық қызығушылықтың жоғары болуы – олардың әлеуметтік желілерде әрі қарай жылдам таралуына ықпал ететін факторлардың бірі болып табылады. Нәтижесінде өшпенділік тілі қоғамдық пікірталастың сындарлы формаларына қарағанда анағұрлым көзге түсетін сипатқа ие болып, күнделікті өмірдегі нақты жағдайға қарағанда қоғамдағы наразылық деңгейі жоғары деген әсер қалыптастырады.

Дегенмен қатысушылардың көпшілігі интернеттегі өшпенділік тілі Қазақстандағы этносаралық қатынастардың нақты жағдайын толықтай көрсетпейтінін атап өтті. Респонденттердің пікірінше, пайдаланушылардың едәуір бөлігі агрессивті онлайн-коммуникацияны күнделікті өмірдегі қарым-қатынасқа ықпал етпейді. Алайда мұндай сипаттағы хабарламалардың тұрақты түрде орын алуы біртіндеп сенімсіздік ахуалын қалыптастырып, әлеуметтік поляризацияның күшеюіне ықпал етеді.

Жамбыл обл. Қордай ауылы тұрғыны, дүнген, ер адам, мектеп оқытушысы, 48 жаста: Біз бұған неғұрлым көп мән берген сайын, қоғамдағы бөліну де соғұрлым күшейе түседі. Біз оны барлық жерден іздейтін сияқтымыз, тіпті арамызда ұлтаралық қақтығыс қашан болады екен деп күтіп жүргендейміз. Барлық нәрседен соны іздейміз. Мұның қажеті не?

Түркістан обл. Сарыағаш қ-сы тұрғыны, ұйғыр, ер адам, 66 жаста: Шынымды айтсам, қазір әлеуметтік желілерде артық нәрселер көп

жазылады. Кейде адамдар әдейі басқаларды арандатып, жағымсыз сөздер жазады. Менің ойымша бұл қоғамдағы көңіл-күйге кері әсерін тигізеді.

Респонденттердің басым бөлігі әлеуметтік желілерде өшпенділік тілінің таралуына қарсы өздерінің күресу тәжірибелерімен бөлісті. Олар арандатушы ақпараттарға мән бермеуге, сол сияқты салыстырмалы түрде әртүрлі ақпарат көздерін, сондай-ақ, кейбір жағымсыз ақпараттар таралатын арналарды қарауды шектеу арқылы олардың ықпалын азайту керектігін айтты. Сонымен қатар, сауалнамаға қатысушылардың барлығы дерлік өшпенділік тілінің жекелеген көріністерінің өзі этносаралық қатынастарға кері әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Өйткені мұндай хабарламалар цифрлық кеңістікте тез таралып, қалың аудиторияға қолжетімді болады. Осыған байланысты респонденттер жауапты коммуникация мәдениетін дамыту және әлеуметтік желі пайдаланушыларының цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру қажеттігіне бас мән береді.

Түркістан обл. Сарыағаш қ-сы тұрғыны, ұйғыр, ер адам, студент, 21 жаста: *Егер интернетте жанжалжар немесе қандай да бір мәселелер туралы бірдеңе жаза бастаса, мен бірден бәріне сене бермеймін. Алдымен таныстарымнан сұраймын, жаңалықтарды қарап, әртүрлі дереккөздерді оқимын.*

Алматы обл. Қонаев қ-сы, шешен, ер адам, зейнеткер, 71 жаста: *Мен әрқашан бірнеше дереккөзді салыстырамын. Егер қандай да бір жағдай орын алса, үш-төрт дереккөзден тексеремін. Егер олардың барлығы ақпаратты бірдей түсіндірсе, сонда ғана сене бастаймын. Ал бір ғана дереккөзге – жоқ! Бұл жай ғана өсек немесе бос сөз болуы мүмкін ғой? Жастарды осыған тәрбиелеу керек!*

Жамбыл обл. Қордай ауылы тұрғыны, дүнген, ер адам, мектеп оқытушысы, 48 жаста: *Алдымен әр адам ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауы керек. Қазіргі заманда Интернеттегі барлық нәрсеге сене беруге болмайды. Ақпараттың дұрыстығына көз жеткізу қажет.*

Сонымен қатар, өшпенділік тіліне қарсы іс-қимылдың ықтимал шаралары туралы пікір білдіре отырып, зерттеуге қатысушылар көбіне цифрлық сауаттылықты дамыту, онлайн-коммуникация мәдениетін арттыру және контентті модерациялау тетіктерін жетілдіру қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар респонденттердің басым бөлігі кемсітушілік сипаттағы риторикаға қарсы құқық қорғау органдары тарапынан қатаң шара қолдануды қамтамасыз етуді қолдады. Олардың пікірінше, әлеуметтік желілерде кейбір арандатушы тұлғалар тарататын теріс пікірлер қоғамдық тұрақтылыққа белгілі бір деңгейде кері ықпал етеді.

Түркістан обл. Сарыағаш қ-сы тұрғыны, ұйғыр, ер адам, зейнеткер, 68 жаста: Мен тағы да қайталап айтамын... Кез келген жанжалдың алдын ала алдын алу қажет, ал құқық қорғау органдары орын алған жанжалдарды қатаң түрде тоқтатуы керек. Егер жанжал бәрібір орын алса, оны халықтан жасыруға болмайды. Оның себептерін түсіндіріп, мәселенің түпкі себебін жою арқылы оны түбегейлі шешу қажет. Сондай-ақ жастарға толеранттылық қағидаларын, үлкендерді құрметтеуді, қоғамдық мәдениетті және тағы басқа құндылықтарды үйрету қажет.

Түркістан обл. Сарыағаш қ-сы тұрғыны, ұйғыр, ер адам, 58 жаста: Халыққа интернеттің кері әсерін азайту, қоғамдағы тыныштық пен өзара түсіністікті сақтау мақсатында профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын күшейту уақыт күттірмейтін мәселе.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері көпэтностық қоғам жағдайында өшпенділік тілін зерделеу үшін маңызды теориялық және эмпирикалық қорытындылар жасауға мүмкіндік береді. Ең алдымен, фокус-топтық зерттеу материалдары респонденттердің күнделікті шынайы өмірдегі этносаралық қарым-қатынас тәжірибесін негізінен жағымды сипатта бағалайтынын, алайда осы оң үрдістің цифрлық кеңістіктегі агрессивті риторика мен стереотиптердің әсерінен әлсіреу қаупі бар екенін көрсетті. Қатысушылардың пікірінше, цифрлық кеңістікті тұрақты пайдаланушылар арасында анонимділік пен эмоцияға құрылған контенттің ықпалынан әлеуметтік жауапкершілік деңгейі төмендеп, деструктивті пікірлердің тез таралуына қолайлы жағдай қалыптасады.

Зерттеу нәтижелері қазіргі ғылыми дискурстағы әлеуметтік желілердің қоғамдық пікірталастарды ушықтыруға және әлеуметтік поляризацияны күшейтуге қабілетті екендігі туралы тұжырымдарын толығымен растайды. Агрессивті сипаттағы пікірлердің конструктивті талқылауларға қарағанда назарды әлдеқайда тез тартуы елдегі этносаралық татулық пен азаматтық бірлікке белгілі бір деңгейде кері ықпалын тигізеді. Сонымен қатар, далалық зерттеулерден алынған деректер өшпенділік тілінің алдын алу тек қатаң құқықтық тетіктермен ғана шектелмеуі тиіс екенін дәлелдеді. Респонденттер өскелең жастар мен жалпы қоғам арасында медиасауаттылықты, ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдау дағдыларын, онлайн-коммуникация мәдениетін және этносаралық әртүрлілікке құрметпен қарауды жүйелі түрде дамытудың маңыздылығын бірнеше рет атап өтті. Бұл өз кезегінде дискриминациялық сипаттағы коммуникацияға қарсы іс-қимылдың заңнамалық, білім беру және азаматтық бастамаларды кешенді түрде ұштастыру қажеттігін айқындайды. Аталған зерттеу нәтижелері Қазақстандағы көпэтносты ортадағы этносаралық коммуникацияның сипатына цифрлық платформалардың тигізетін ықпалын одан әрі терең зерделеуге және алдын алудың тиімді ғылыми-практикалық модельдерін әзірлеуге негіз болады.

Қорытынды

Жүргізілген талдау зерттеліп отырған аумақтағы этносаралық қатынастардың жалпы алғанда тұрақты сипатқа ие екенін және күнделікті өзара қарым-қатынаста айқын шиеленістің байқалмайтынын көрсетеді. Әртүрлі этнос өкілдері бейбіт қатар өмір сүру, өзара құрмет пен әлеуметтік өзара іс-қимыл тәжірибелерін сақтап отыр. Сонымен қатар қалыптасқан тұрақтылық белгілі бір жағдайларда әлеуметтік және этносаралық шиеленістің күшеюіне ықпал етуі мүмкін әлеуетті тәуекел факторларының жоқ екенін білдірмейді.

Осындай факторлардың бірі – ақпараттық орта, әсіресе әлеуметтік желілер. Респонденттер әлеуметтік желілерде жалған, арандатушылық және жағымсыз ақпараттардың, соның ішінде анонимді және жалған аккаунттар арқылы таратылатын материалдардың көбейіп отырғанына назар аударады. Мұндай ақпараттың жекелеген үлгілерінің болуынан гөрі, олардың белгілі бір топтарға қатысты сенімсіздікті қалыптастыру, оларды бір-біріне қарсы қою және этносаралық жанжалдарды арандату мақсатында әдейі пайдаланылуы үлкен қауіп төндіреді.

Сонымен бірге зерттеу нәтижелері халықтың мұндай ақпараттың пассивті тұтынушысы емес екенін көрсетеді. Респонденттер әлеуметтік желілердегі ақпаратқа белгілі бір деңгейде сын тұрғысынан қарайды, оны өздерінің күнделікті тәжірибесімен және әртүрлі этнос өкілдері арасындағы қалыптасқан қарым-қатынастармен салыстырады. Бұл қоғамда әлеуметтік және ақпараттық өзін-өзі реттеу тетіктерінің бар екенін көрсетеді. Аталған тетіктер виртуалды кеңістіктегі жанжалдық риториканың нақты этносаралық қатынастарға автоматты түрде ауысуына тосқауыл болады.

Осылайша, этносаралық тұрақтылықты статикалық жағдай ретінде емес, күнделікті өзара іс-қимыл, өзара сенім және қоғамның жанжал туындататын ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдай алу қабілеті арқылы үнемі қалыптасып отыратын үдеріс ретінде қарастырған жөн. Осы тұрғыда тек орын алған жанжалдардың алдын алу ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы өзара сенімге біртіндеп нұқсан келтіруі мүмкін факторларды ерте кезеңде анықтау ерекше маңызға ие.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері этносаралық тұрақтылықтың негізгі әлеуеті топтар арасындағы күнделікті өзара сенім мен оң өзара іс-қимылды сақтауға байланысты екенін, ал қазіргі кезеңдегі маңызды сын-қатерлердің бірі – қоғамдық өзара түсіністікті нығайтуға да, белгілі бір жағдайларда поляризация мен жанжал деңгейін күшейтуге де қабілетті ақпараттық орта екенін көрсетеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. UN: What is hate speech? <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech> (Қаралған күн: 17.08.2026)

2. Waldron J. The Harm in Hate Speech. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2012. – 292 p.
3. Baker C. Edwin. Autonomy and Hate Speech // Extreme Speech and Democracy / Ed. by Ivan Hare, James Weinstein. Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 139-157.
4. Gelber K. & McNamara L. Evidencing the harms of hate speech // Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers. – 2016. – P. 1-14. <https://scispace.com/pdf/evidencing-the-harms-of-hate-speech-16b9gy0gj5.pdf>
5. Strossen N. HATE: Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship. New York: Oxford University Press, 2018. 232 p
6. Heinze E. Hate Speech and Democratic Citizenship. Oxford: Oxford University Press, 2016. 240 p.
7. Курганская В.Д., Дунаев В.Ю., Абрахматова Г.А. Этностереотипы в общественном сознании казахстанцев. Аль-Фараби. – 1 (89) 2025. – С. 157-172.
8. Ormakhanova Y. Media discourse of «Hate speech» in digital communication: cases of social media // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. – №3 (73) 2024. – С. 113-123.
9. Таусоғарова А.Қ., Жолдасбек Л.О., Сабырбаева Ф.Е. Коммуникативті жағдаяттағы ққтығысты сөйлеу актілері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. – №2 (190). 2023. – Б. 112-122.

**Язык вражды как социальная проблема
(результаты социологического исследования 2026 года
в городе Шымкент и Туркестанской области)***

Болганбаева Шолпан Дуйсенбековна

Введение

В условиях глобализации и развития цифровых коммуникаций проблема языка вражды становится одним из ключевых вызовов для многоэтнических обществ. Особую актуальность данная проблема приобретает в государствах с высокой степенью этнокультурного разнообразия, к числу которых относится Республика Казахстан. Несмотря на проводимую государством политику укрепления общественного согласия и национального единства, развитие социальных сетей спонтанно создает новые возможности и площадки для генерирования и распространения дискриминационных высказываний, этнических стереотипов и речевой агрессии.

Южные регионы Казахстана характеризуются высокой плотностью и полиэтническим составом населения, что предполагает высокую интенсивность межкультурных контактов. В этой связи изучение восприятия языка вражды населением представляет значительный научный интерес. Особое внимание заслуживает анализ того, каким образом жители интерпретируют межэтнические конфликты, оценивают роль социальных сетей в распространении языка вражды и какие механизмы противодействия считают наиболее эффективными.

Исследования последних лет свидетельствуют о возрастающем научном интересе к проблематике языка вражды в казахстанском медиапространстве и социальных сетях. В частности, исследователи анализируют проявления враждебной риторики в социальных сетях, особенности речевой агрессии в цифровой коммуникации, а также разрабатывают методы автоматического выявления оскорбительных и дискриминационных высказываний [1].

Содержательную основу данной работы составляют результаты качественных социологических исследований, проведенных с жителями города Шымкента и Туркестанской области в апреле-мае 2026 года. Результаты исследования демонстрируют, что язык вражды формируется под воздействием социальных, культурных, экономических и медийных факторов и проявляется преимущественно в контекстах межэтнического, языкового и социального дискурсов. Полученные данные позволяют определить основные механизмы воспроизводства отрицательных нарративов и предложить рекомендации по профилактике речевой агрессии и укреплению социальной сплоченности населения.

Методологической основой статьи выступает качественный анализ материалов фокус-групповых исследований и глубинных интервью с участием

* Исследование проведено в рамках финансирования Комитета науки МНВО РК – грант ИРН AP23489872 «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.).

представителей различных этнических групп города Шымкента и Туркестанской области. Результаты исследования показывают, что респонденты связывают проявления языка вражды преимущественно с деятельностью граждан, провоцирующих межэтнические и языковые конфликты в социальных сетях, и стремлением отдельных пользователей к получению общественного внимания. При этом большинство участников исследований демонстрировало достаточно высокий уровень межэтнической толерантности и подчеркивало, что причины конфликтов чаще обусловлены индивидуальными качествами личности, чем этнической принадлежностью. Исследование позволяет сделать вывод о наличии среди респондентов устойчивых установок на межэтническое согласие при одновременном существовании отдельных дискурсивных практик, способных воспроизводить элементы исключения и стигматизации.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей проявления языка вражды, особенностей восприятия языка вражды, а также выявление основных представлений о распространенности языка вражды, его источниках, формах проявления и возможных механизмах противодействия на основе анализа фокус-групповых исследований и интервью респондентов, проведенных в г. Шымкенте и Туркестанской области.

Методология исследования

Эмпирическую базу исследования составили материалы фокус-групп, индивидуальных и групповых интервью, проведенных в Келесском районе Туркестанской области и городе Шымкент. В исследовании приняли участие представители различных этнических групп в возрасте от 23 до 67 лет.

В ходе исследования использовался метод полуструктурированного интервью, позволивший выявить субъективные оценки респондентов относительно межэтнической ситуации в их городах и населенных пунктах, роли социальных сетей в формировании общественного мнения и распространенности языка вражды в межэтнической сфере отношений.

Социальные сети как основной источник информации о межэтнических отношениях

Анализ результатов фокус-групп и интервью с респондентами из г. Шымкент и Келесского района Туркестанской области показал, что основными источниками информации о межэтнических процессах для них выступают социальные сети (Instagram, TikTok, Telegram), которые одновременно рассматриваются респондентами и как пространство распространения провоцирующего контента и языка вражды. Традиционные средства массовой информации, такие как газеты, радио и телевидение практически не упоминались участниками исследования как основные источники получаемой информации о событиях в стране и мире.

Подобная медиапрактика свидетельствует о смещении приоритетов информационного потребления в цифровую среду не только у молодежи, но и у старших поколений. Вместе с тем респонденты демонстрировали достаточно высокий уровень уверенности в собственной способности отличать достоверную информацию от фейковой. Основными критериями оценки достоверности выступают стиль подачи материала и субъективная оценка логичности сообщения. Респонденты отмечают: *«Там все понятно, в интернете, когда что-то пишут, можно сразу отличить. Как написано по стилю речи можно отличить»* (русский, 30 лет, самозанятый, г. Шымкент); *«Сейчас информацию мы в основном получаем из социальных сетей. Смотрим TikTok, YouTube, Instagram. Там публикуется различная информация»*. (узбечка, 61 год, пенсионерка, г. Шымкент).

Представления респондентов о причинах появления и распространения языка вражды

Подавляющее большинство участников исследований не сталкивались с серьезными межэтническими конфликтами в повседневной жизни. При этом респонденты неоднократно отмечали наличие провокационных публикаций в социальных сетях. В качестве наиболее характерного примера упоминались ситуации, связанные с языковыми вопросами и требованиями использовать казахский язык в общественном пространстве. В большинстве своем участники опросов воспринимали подобные случаи как намеренные провокации, направленные на получение общественного резонанса и увеличение просмотров в социальных сетях. Респонденты отмечают: *«Вот эти люди, они провоцируют, а потом начинают снимать и говорят, что произошла ссора. И говорят: «Қазақша сөйле». Они специально сами провоцируют вначале, а потом говорят: «На казахском разговаривай» или «Клиент всегда прав», всякое вот такое... Провокаторов наказывать жестко надо»* (казах, 35 лет, самозанятый, г. Шымкент); *«Конечно, с этим бороться нужно... Законы, конечно, нужно принимать, чтобы наказывали, чтобы люди боялись немножко между собой ругаться»* (русская, 67 лет, пенсионерка, г. Шымкент).

«Чтобы не было вражды, все люди должны соблюдать закон. В нашей Конституции государственный язык - казахский, поэтому его необходимо знать и уважать, так как все мы граждане этой страны. Дома говорим на узбекском языке. Нет таких противоречий. Все мы должны подчиняться закону. Если у нас государственный язык казахский, мы должны говорить на казахском... Если представители разных национальностей будут уважать друг друга, никаких проблем не возникнет» (узбечка, 61 год, домохозяйка, г. Шымкент).

В одном из интервью нами был выявлен опыт языковой дискриминации в образовательной, профессиональной и повседневной среде у молодой респондентки из Шымкента. Наиболее ранний опыт языкового давления она связывает с обучением в общеобразовательной школе: *«У меня в школе была*

учительница по казахскому языку. Упор был именно на меня. Говорила, что я необразованная, безграмотная, что я ничего не добились в жизни, что ни одной грамоты не получила по казахскому языку. В девятом классе, что может добиться человек?» (русская, 23 года, продавец, по образованию экономист, г. Шымкент). Именно взаимодействие с преподавателем казахского языка воспринимается ею как наиболее эмоционально значимый эпизод школьного периода жизни. Восприятие подобных действий характеризуется респонденткой как целенаправленное психологическое давление, оказавшее влияние на формирование у ней чувства неуверенности в себе и социальной уязвимости.

Анализ интервью свидетельствует, что респондентка неоднократно сталкивалась с проявлениями языковой дискриминации, которые затрагивали различные сферы ее жизнедеятельности – получение среднего и высшего образования, недолгую профессиональную деятельность и повседневное взаимодействие с окружающими. При этом ключевым основанием для негативного отношения к ней выступало слабое владение разговорным казахским языком при наличии у нее способности понимания казахской устной речи. Несмотря на понимание казахской речи, отсутствие свободного владения разговорным языком ограничивало ее возможности в поиске работы по специальности, полноценного включения в трудовой коллектив и способствовало формированию у ней чувства отчуждения. *«Я год назад закончила университет в Шымкенте... Я одна была в группе русскоязычной. Со мной никто не общался, потому что я не знала казахский. Я понимаю, но я не говорю на нем, и, соответственно, студенты меня не понимали. Это тоже было неудобно, когда преподаватели все время переспрашивают у тебя: «Ты все поняла?!» И упор на тебя делают, когда тебе и так неудобно за то, что ты с ребятами не общаешься (русская, 23 года, продавец, по образованию экономист, г. Шымкент).*

Также особое значение в интервью придается влиянию языковой компетенции на профессиональную самореализацию. Данный респондент связывает неоднократные отказы при трудоустройстве с недостаточным владением разговорным казахским языком. По ее мнению, языковые требования работодателей существенно ограничивали доступ к трудоустройству даже при наличии профильного высшего образования и соответствующей квалификации. *«Почему меня не взяли? Потому, что казахский не знаю. Знаю, но не говорю. Меня и менеджером не брали. Я куда только не пыталась устроиться. Меня вот единственным продавцом взяли, и то еле-как. Везде мне говорили: «Қазақша сөйле», в автобусе тоже было. Были такие клиенты не только на моей работе, и на улице было...» (русская, 23 года, продавец, по образованию экономист, г. Шымкент).*

Данный опыт свидетельствует о восприятии государственного языка как важного механизма профессиональной интеграции и одновременно как потенциального барьера для части русскоязычного населения не владеющего государственным языком.

Важно отметить случаи языкового давления в общественных местах. Респондент неоднократно сталкивалась с требованиями использовать исключительно казахский язык в общении, несмотря на отсутствие объективной необходимости или непосредственного взаимодействия с инициаторами подобных замечаний. Наиболее распространенной формой подобных практик являлось фразо-обращение «Қазақша сөйле» («Говори по-казахски»), которое воспринимается респондентом как способ символического обозначения границ принадлежности к национальному сообществу. Подобные эпизоды сопровождались эмоциональными переживаниями и, по словам респондентки, стали одной из причин, побудивших ее начать изучать разговорный казахский язык, хотя уровень владения им по-прежнему остается ограниченным. Интерес представляет и восприятие респондентом дискриминации, основанной не только на языковых, но и на внешних этнических маркерах. При этом респондент подчеркивает, что подобные замечания, по ее наблюдениям, чаще адресуются представителям некоренного населения. *«В автобусе было тоже. Взрослые люди, взрослые бабушки, дедушки заходят, видят меня с моим русским лицом, и говорят: «Вставай, уступи!». Хотя, вы можете подумать, что я не уступаю? Нет, я уступаю. Но они, даже когда места есть, они почему-то ко мне подходят и говорят: «Встань!». Я не знаю, почему это?! Хотя обычно, когда я вижу, что заходит пожилой человек, да даже не пожилой, но человек устал, он старше меня, я, конечно, уступлю ему. Вот этого я не понимаю, почему казахам, казахам молодым они не говорят, мало того, те и не уступают. Кому-то делают замечания, но по большей части делают как раз-таки неказахам»* (русская, 23 года, продавец, по образованию экономист, г. Шымкент). Следует отметить, что данное высказывание отражает субъективное восприятие респондента, которое не обязательно отражает реальные мотивы людей, обращавшихся к ней. Скорее всего главная причина подобного восприятия респондентки сформировалась под воздействием психологической травмы и регулярного языкового давления, начавшегося с подросткового возраста и продолжающегося до настоящего времени.

Рассмотренный опыт показывает двойственную роль государственного языка в жизни части русскоязычного населения не владеющего государственным языком. С одной стороны, владение казахским языком воспринимается как необходимое условие профессиональной и социальной интеграции. С другой стороны, требования использовать государственный язык в повседневном общении могут приобретать форму языкового давления и усиливать чувство отчуждения. Описанные респонденткой ситуации свидетельствуют о том, что предшествующий негативный опыт влияет на восприятие последующих социальных взаимодействий, которые могут интерпретироваться как постоянное проявления языковой или этнической дискриминации, но не быть таковыми на самом деле. Следовательно, языковой вопрос затрагивает не только коммуникативные практики, но и более широкие социально-психологические проблемы.

Требование «Қазақша сөйле» («Говори по-казахски») само по себе не может автоматически квалифицироваться как язык вражды, поскольку в определенных коммуникативных ситуациях оно может выражать нейтральную просьбу человека, не владеющего русским языком – перейти в общении на государственный язык. При этом для строгой научной оценки необходимо учитывать не только содержание отдельной фразы, но и интонацию, обстоятельства ее произнесения, намерение говорящего, возможную этническую направленность и воздействие высказывания на адресата. Следовательно, данный пример демонстрирует пограничную форму между требованием соблюдать языковую норму и речевой практикой, создающей чувство отчуждения и неравноправия, что требует его отдельного изучения.

Межэтническая толерантность как доминирующий нарратив социального взаимодействия

Одним из наиболее устойчивых нарративов, выявленных в процессе исследования стало утверждение о том, что этническая принадлежность сама по себе не определяет качества человека. Практически все участники подчеркивали, что конфликты возникают вследствие индивидуальных особенностей личности, а не этнической принадлежности. Показательными являются многочисленные высказывания представителей различных этнических групп о многолетнем мирном сосуществовании в одном районе, совместном участии в праздниках, взаимопомощи и добрососедских отношениях. Полученные данные свидетельствуют о сохранении высокого уровня бытовой межэтнической толерантности, уважительного отношения к религиям и культурным традициям в исследуемом регионе. Свое мнение по этому поводу высказал респондент: *«Считаю, что в настоящее время представители различных этносов в целом проявляют терпимость друг к другу. Лично я отношусь с уважением к людям других национальностей и имею среди них друзей и знакомых. И они уважают твою религию и традиции. Мы, например, живем на одной улице, и конечно, все вместе отмечаем праздники и другие мероприятия. В целом я считаю, что для сохранения межэтнического согласия и общественной стабильности необходимо развивать взаимное уважение, терпимость и культурный диалог между народами»* (казах, 65 лет, пенсионер, Келесский район Туркестанской области).

Анализируя отношения разных этнических групп по отношению друг к другу, опрошенная респондентка сделала вывод, что толерантность в казахстанских СМИ выражается следующим образом: *«...казахстанские граждане толерантны благодаря нашей многонациональности, и это на высоком уровне»*. И сравнила с российскими СМИ: *«Я сравниваю с российскими блогерами. Россия тоже многонациональное государство, но там очень много агрессивных блогеров, которые очень критично, высокомерно, даже нелюбезно отзываются о представителях других*

национальностей, особенно среднеазиатских и кавказских народах, принижая их. В казахстанских СМИ и соцсетях такого безобразия нет. Намного меньше, во всяком случае. Вот в СМИ сейчас распространено не так агрессивно, как несколько лет назад, что все-таки представители других национальностей должны знать казахский язык. И это, конечно, правильно, но сейчас это преподносится мягче, чем несколько лет назад» (татарка, 65 лет, пенсионерка, Келесский район Туркестанской области).

Большинство участников исследования продемонстрировали высокий уровень толерантности и были склонны объяснять конфликты индивидуальными особенностями людей, а не этническими различиями. «Все представители разных этнических групп относятся друг к другу с уважением и терпимостью. На границе же разное случается. Но узбеки с казахами не дерутся... общаются между собой. Хорошо живут, в мире и согласии. Они не отталкивают друг друга, а наоборот, поддерживают. Они живут как братья, в согласии и мире» (узбек, 58 лет, фермер, Келесский район Туркестанской области).

Языковой вопрос как фактор символического конфликта

Особое место в обсуждениях заняла проблема языковых отношений. Значительная часть участников независимо от этнической принадлежности негативно воспринимала требования использовать исключительно казахский язык в коммуникации. При этом важно отметить, что сами респонденты демонстрировали владение государственным языком и не выступали против его изучения и использования. Негативную реакцию вызывали не языковые различия как таковые, а принудительный характер подобных требований. Таким образом, конфликтным фактором выступает не сам язык, а способы его политизации и использования в качестве инструмента символического давления.

Респондентка, участвовавшая в фокус-групповом исследовании высказалась по этому поводу следующим образом: «Я сама лично столкнулась с таким случаем. В такси внук ко мне обратился на русском языке... Таксист сделал замечание: «Почему ваши дети говорят на русском языке?» Я спросила у него: «А вы знаете русский язык?» Он отвечает: «Нет, мне русский язык не нужен»... Я сказала: «Например, если мои дети, внуки поедут в другую страну, кто там понимает казахский язык? А если будут говорить на русском языке, их поймут. Все равно, в других странах сейчас распространен русский язык. Это разговор общения... Поэтому, я учу своих внуков разговаривать на русском языке, так же свободно, как на казахском языке... (Метиска, отец казах, мать немка, 58 лет, преподаватель, Келесский район Туркестанской области).

Несмотря на общую установку государственной этнополитики на межэтническое согласие, анализ интервью выявил отдельные проявления стигматизирующего дискурса. В частности, в отношении некоторых социальных групп использовались негативные обобщения, предложения о

жестком наказании, депортации и ограничении прав. В ходе фокус-группового исследования, шымкентский респондент высказал свое мнение: *« Попрошайки, дети маленькие, женщины, закутанные, непонятные. Вообще непонятно, кто они, какой национальности. Вот они очень некультурные, я думаю, надо уменьшать их количество, надо сажать, по-моему. Потому что, они в наглую к людям подходят и деньги просят, а кто не дает они агрессивно реагируют. Именно таких людей надо депортировать в ту страну, к которой они относятся по этническому происхождению. Они плохо влияют на детей, на обычных людей. Они думают, что они могут ничего не делать и можно деньги ходить и просить. Они на всех плохо влияют. Надо их депортировать или посадить, или куда-нибудь в закрытую зону, пусть помидоры собирают, пусть что-нибудь делают. С ними надо бороться...»* (казах, 35 лет, самозанятый, г. Шымкент).

Актуальной в настоящее время является практика смешения (code-mixing) казахского и русского языков в условиях этнического билингвизма в современном Казахстане. Необходимо смотреть на это явление не как на ошибку или следствие слабого владения одним из языков, а как на особый семиотический ресурс. С его помощью люди стремятся достичь взаимопонимания и гармонизировать коммуникацию. В центре внимания - активная роль билингва: он осознанно выбирает языковые средства, подходящие к конкретной ситуации. Исследователи опираются на понятие *коммуникативной компетенции* – способности координировать языковые знания с культурно-специфическими нормами общения. Такой подход связан с изучением языковой вариативности как выражения социальной и этноязыковой идентичности. Перспектива анализа гетерогенного (смешанного) языкового кода имеет значительный объяснительный потенциал для изучения билингвальной практики. Смешение казахского и русского языков объясняется не с позиции языковой инференции, речевых ошибок вследствие недостаточной коммуникативной практики или ограниченного словарного запаса билингва, но как особый семиотический ресурс, используемый для выражения взаимопонимания и гармонизации коммуникации. Это особое использование языка, выдвигающее в центр внимания активность использующего язык человека, способного выбрать лингвистическое средство, адекватное в конкретной ситуации [2].

Скрытые формы языка вражды

Несмотря на декларируемую толерантность, анализ интервью выявил наличие отдельных стигматизирующих высказываний. Объектами негативных характеристик становятся не только этнические группы, но и социально уязвимые категории населения: безработные, просители подаяния, мигранты, отдельные категории кандасов, молодежь и люди с низким уровнем образования. Это позволяет расширить традиционное понимание языка вражды.

В Южном Казахстане негативное или враждебное отношение чаще связано не с этнической принадлежностью человека, а с его положением в обществе. При этом такие факторы, как социальный статус, образование и образ жизни, нередко играют более значимую роль, чем этническая идентичность.

Межэтническое согласие как локальная норма повседневности

Анализ материалов показывает, что в сельских районах Туркестанской области межэтническое согласие воспринимается не как государственная политика или идеологическая установка, а как естественная часть повседневной жизни. Респонденты различных национальностей – казахи, немцы, татары, узбеки, таджики и русские описывают свои отношения через категории соседства, взаимопомощи, совместного труда и родственных связей.

Особенно показательно, что участники фокус-группы неоднократно подчеркивают наличие смешанных браков между представителями разных этнических групп. Межэтнические семьи воспринимаются как обычное явление и не рассматриваются как источник напряженности. Более того, многие респонденты отмечают постепенную культурную интеграцию различных этнических групп через принятие казахских традиций, участие в общих праздниках и использование казахского языка в быту.

В интервью неоднократно звучала мысль о том, что этническая принадлежность практически не играет роли в оценке человека. Значительно важнее личные качества, трудолюбие, порядочность и отношение к окружающим. Такая позиция присутствует как среди представителей титульного этноса, так и среди представителей других этнических групп.

Заключение

В современном мире образование призвано не только обеспечивать усвоение знаний, но и формировать личностные качества, способствующие гармонизации межкультурных и межэтнических отношений. В Казахстане одним из актуальных направлений языковой политики выступает развитие полиязычия, предполагающего сохранение и развитие государственного казахского языка и языков этнических групп, использование русского языка как средства межэтнического общения, а английского – в профессиональной и межкультурной коммуникации. В процессе межкультурного взаимодействия человек, с одной стороны, стремится сохранить собственную культурную идентичность, а с другой – освоить элементы иной культуры. Это взаимодействие способствует взаимному влиянию и обогащению языков и культур [3].

Результаты исследования показывают, что жители Туркестанской области и Шымкента, в целом оценивают межэтнические отношения как

стабильные и благополучные. Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего мониторинга цифрового пространства, развития медиаграмотности населения и совершенствования механизмов профилактики речевой агрессии в многоэтничном обществе Казахстана:

1) *Язык вражды воспринимается преимущественно как цифровой феномен.* Практически все респонденты связывают столкновение с языком вражды не с повседневным взаимодействием, а с интернет-коммуникацией. Основными площадками называются TikTok, Instagram, Telegram и YouTube. При этом большинство участников отмечают отсутствие серьезных межэтнических конфликтов в собственной повседневной жизни. Данное наблюдение позволяет говорить о феномене «цифровой гиперрепрезентации конфликта», когда межэтническая напряженность оказывается более заметной в медиaprостранстве, чем в реальных социальных отношениях.

Интересно, что некоторые респонденты практически не сталкивались с межэтническими конфликтами лично, однако регулярно наблюдают подобные сюжеты в социальных сетях. В результате формируется ситуация, когда цифровая среда воспринимается как более конфликтная, чем реальная социальная жизнь.

Во многих интервью присутствует образ «провокатора» - человека, который сознательно создает конфликтную ситуацию в интернет-пространстве ради популярности, просмотров или политического эффекта. Подобное восприятие позволяет говорить о формировании общественного запроса на более жесткую модерацию цифрового пространства и ответственность за распространение враждебного контента.

2) *Центральным триггером конфликтности выступает языковой вопрос.* На фоне общего межэтнического согласия языковой вопрос остается наиболее чувствительной темой. Интервью показывают существование двух противоположных интерпретаций. Первая позиция характерна прежде всего для русскоязычных респондентов. Требование «Қазақша сөйле» воспринимается ими как форма символического давления и социальной дискриминации. Особенно ярко это проявляется в рассказах русской респондентки, столкнувшейся с языковыми барьерами в школе, университете, при трудоустройстве и в текущей повседневной коммуникации. Вторая позиция представлена, прежде всего, казахоязычными и узбекскими респондентами, которые рассматривают владение государственным языком как естественную гражданскую обязанность и важный элемент интеграции в казахстанское общество.

Таким образом, языковой вопрос является не просто коммуникативной проблемой, а символическим маркером принадлежности, гражданской идентичности и социальной интеграции.

3) *Наблюдается высокий уровень бытовой межэтнической толерантности.* Несмотря на наличие отдельных конфликтных сюжетов, большинство респондентов характеризуют свои отношения с представителями других этносов как добрососедские и основанные на взаимопомощи. В интервью регулярно встречаются описания смешанных

соседских сообществ, межэтнических браков и дружеских связей, совместного участия в общественной жизни. Особенно показательно высказывание, постоянно повторяющееся в разных интервью: «Нет плохой нации, есть плохие люди». Данный нарратив можно рассматривать как доминирующую модель интерпретации межэтнических отношений.

4) *Язык вражды распространяется через дискурс провокации.* Участники фокус-групп неоднократно подчеркивали, что многие конфликтные ситуации специально провоцируются ради популярности в социальных сетях (хайпа), просмотров (лайков) и общественного резонанса. Восприятие провокаторов как ключевых агентов распространения языка вражды формирует запрос на усиление государственного регулирования и санкций.

В материалах исследования обнаружены примеры негативных обобщений в отношении отдельных социальных категорий (мигрантов, кандасов, сельских жителей, просителей милостыни). Это позволяет сделать важный теоретический вывод: в исследуемом регионе язык вражды проявляется не только в этническом измерении, но и в социальном, культурном и поведенческом контекстах. Объектом стигматизации могут становиться группы, воспринимаемые как «чужие» или нарушающие локальные нормы поведения.

5) *Враждебность может быть направлена не только на этнические группы, но и на социальные.* Практически все респонденты связывают возможные конфликты прежде всего с социально-экономическими причинами. Безработица, низкий уровень жизни, конкуренция за ресурсы, зависть и отсутствие перспектив рассматриваются как более значимые факторы напряженности, чем этническая принадлежность. Особенно отчетливо данная позиция представлена в интервью фермеров и жителей сельских районов. По их мнению, человек становится объектом негативного отношения не потому, что принадлежит к определенному этносу, а потому, что обладает более высоким уровнем доходов или экономическими преимуществами. Полученные данные подтверждают положения теории относительной депривации, согласно которой социальное недовольство чаще возникает вследствие ощущения экономической несправедливости, чем вследствие культурных различий.

6) *Межпоколенческие различия оказывают влияние на восприятие языка вражды.* Еще одним важным результатом исследования является выявление влияния советского опыта общежития на современные представления старшего поколения о межэтнических отношениях. Многие респонденты старше 55 лет описывают свое детство и молодость как период, когда национальность практически не имела значения в повседневном общении. Они подчеркивают, что учились в многонациональных классах, дружили независимо от этнической принадлежности, редко обращали внимание на различия между людьми, не знали кто к какой нации принадлежит. При этом некоторые участники рассматривают отдельные современные языковые конфликты как относительно новое явление,

связанное, прежде всего, с социальными сетями и деятельностью отдельных блогеров. По их мнению, в прошлом подобные вопросы не занимали столь заметного места в общественном дискурсе.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что современный язык вражды в городе Шымкент и Туркестанской области имеет преимущественно гибридный характер и формируется на пересечении этнических, языковых, социальных и экономических факторов. Его профилактика требует не только правового регулирования, но и развития медиаграмотности, межкультурного диалога и грамотной социальной политики, направленной на снижение социального неравенства.

Список использованных источников:

1. Ормаханова Е.Н. Медиадискурс «языка вражды» в цифровой коммуникации: кейсы социальных медиа // Вестник КазНУ. Серия журналистики. - 2024. - Т. 73, № 3. - С. 113-123.

2. Жаркынбекова Ш. К., Чернявская В. Е. Казахско-русская билингвальная практика: смещение кода как ресурс в коммуникативном взаимодействии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2022. - Т. 13. - № 2. - С. 468-482.

3. Дмитрюк Н.В., Маханова Г.Б. Взаимовлияние языков и культур в полиэтническом пространстве Казахстана: дидактические аспекты // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». - 2022. - № 3(80). - С. 5-12.

Примечание: При подготовке статьи автор использовал OpenAI. ChatGPT (GPT-5.5) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://chatgpt.com/> для языкового редактирования и улучшения структуры текста. Все данные, их интерпретации, научные выводы и окончательная редакция научной статьи принадлежат автору.

Integrational and Disintegrational Tendencies of Islamization within Nation-Building in Post-Soviet Kazakhstan

Damira Sikhimbayeva

Abstract: This article examines the relationship between Islamization and nation-building in contemporary Kazakhstan, focusing on its integrative and disintegrative tendencies. It argues that Islamization is not a homogeneous process and that its impact depends on historical, sociocultural, political, and ideological contexts. Its integrative potential includes strengthening social solidarity, historical continuity, and the incorporation of Islamic heritage into national identity. At the same time, disintegrative tendencies may emerge through the politicization of religion, transnational Islamist influences, rejection of local ethno-cultural traditions, and the prioritization of the global Muslim ummah over national identity. The article concludes that Islamization should be understood as a significant and increasingly influential dimension of nation-building in Kazakhstan, whose integrative or disintegrative effects depend on how religious identities and discourses interact with national identity, local cultural traditions, and secular state institutions. Maintaining a balance between religious revival, national cohesion, and secular principles is therefore becoming an important challenge for Kazakhstan's evolving nation-building process.

Key words: Islamization, Nation-Building, integrational and disintegrational tendencies, Kazakhstan.

Within the context of nation-building, both integrative and disintegrative functions of religion can be observed. In this regard, some scholars have argued that Islam, as a religious and ideological system, is incompatible with nationalism and nation-building policies. According to the prominent scholar of nationalism, D. Breuilly, "Islam, as a proselytizing world religion, does not recognize national boundaries or the nation-state. Whereas nationalism regards the nation-state as the highest legitimate institution and demands absolute loyalty to it, Islam rejects such an approach. Islamic political movements and their ideologies are directed against secularism and the nation-state" [1].

According to other prominent scholars of nationalism, M. Guibernau and J. Hutchinson, contemporary Islamic anti-nationalist movements have prompted scholars to reconsider the relationship between religion, the state, and nationalism [2]. However, as demonstrated by global experience, the relationship between religion and nationalism depends on a range of factors, including the historical, sociocultural, political, and ideological characteristics of a particular state. Accordingly, depending on these factors, the interaction between these phenomena may assume either confrontational or cooperative forms.

A substantial body of international scholarship has addressed the role and significance of Islam in the processes of nation-building in Central Asian countries [3]. As part of the global Islamic ummah, Muslim communities in Central Asia have become an important subject of study for international scholars [4], while also

attracting close attention from international Islamic terrorist and extremist organizations. Islam, as a religious and ideological system, has influenced not only the transformation of ethno-confessional identities and the rethinking of spiritual values, but also the cultural and sociopolitical views of Muslims in the post-Soviet states. According to Kazakhstani and Russian experts, Islam and nationalism may become powerful sociopolitical forces in the event of socioeconomic deterioration and during periods of political transition, and may be instrumentalized by both external and domestic actors [5].

In Kazakhstan, one of the earliest attempts to examine the relationship between religious-Islamic and ethno-national identities was undertaken by the Kazakhstani scholar A. Sultangalieva [6]. The influence of Arab-Muslim organizations on the revival of Islam in Kazakhstan was examined by D. Vilkowski [7]. Numerous international and domestic studies of nation-building and nationalism have primarily focused on such issues as language processes and language policy, interethnic relations, and contradictory trends in the formation of civic and ethnic identities. The Islamic factor, meanwhile, has largely been examined from the perspectives of securitization, national security, extremism, and terrorism.

Islamization trends and Nation-Building in Kazakhstan

As noted in the Introduction, both integrative and disintegrative functions of religion may emerge in the context of nation-building. In this regard, some scholars of nationalism have argued that Islam, as a religious and ideological system, is incompatible with nationalism and nation-building policies.

A comparative analysis of models of nation-building in the postcolonial period demonstrates that religion can play different and sometimes contradictory roles. It can serve as a factor of social cohesion and collective mobilization, but it can also become a source of conflict, depending on how it is instrumentalized by political actors. As an ideological construct capable of shaping strong forms of social identity, religion may pose a significant challenge to the construction of a secular nation-state, particularly when religious and national identities are framed as competing sources of political loyalty.

The nature of the interaction between Islam and nationalism in the postcolonial and post-secular Muslim world is not universal. Rather, it varies across historical and sociopolitical contexts and is shaped by the specific institutional arrangements, cultural traditions, and political dynamics of individual states. Understanding this complex relationship therefore requires an interdisciplinary approach that takes into account historical contexts, regional specificities, and the perspectives and experiences of different social groups.

With the development of information technologies and transnational communication networks, new challenges have emerged, including the influence of international networks of Islamist movements and organizations on the collective consciousness of Muslim communities in Kazakhstan. Contemporary trends in the globalization of Islamic thought and the circulation of diverse religious and ideological discourses originating from the Muslim world exert a significant

influence on the religious consciousness of Muslims, including those in Kazakhstan. Scholars and specialists identify several major cultural and ideological zones of influence, including the Arab, Persian, Turkish, Indo-Pakistani, and Russian spheres [8, 9, 10, 11]. Some of these currents are characterized by “overt fundamentalism” and calls to return to the “pure Islam” of the salaf, or pious predecessors. A segment of Muslims seeks to distance itself from local ethno-national culture and to emphasize its affiliation with the universal ummah through religious identity [12].

In the context of globalization, the informational and ideological influences affecting Muslims in Kazakhstan therefore represent a complex interplay of challenges and opportunities shaped by historical, cultural, and socioeconomic factors. Over the years of independence, Islam has become not only an element of national cultural identity but also an ideological framework influencing various spheres of the private and public lives of Muslims. Over recent decades, a qualitatively new Muslim community (ummah) has emerged in Kazakhstan, a segment of which rejects or does not identify with certain long-standing traditional and shared civic values of contemporary Kazakhstani society. These tendencies include the marginalization and social isolation of “new Muslims,” tensions between religious and secular values, conflicts between national and Islamic values, and the radicalization of religious consciousness. At the same time, Islamophobia and the securitization of Islam have become increasingly pronounced in society. Taken together, these processes create tensions and challenges for state policies aimed at national integration, hinder the development of a positive and socially inclusive Islamic identity, and may contribute to intra-Muslim fragmentation and the growth of Islamophobic attitudes within society.

Islamization in contemporary Kazakhstan is a complex and heterogeneous process that develops under the influence of various cultural and ideological zones like Arab, Persian, Turkish, South Asian and local Islamic traditions. Their interaction contributes to the expansion of the religious space of Kazakhstan and at the same time forms various interpretations of Islam, religiosity, national culture and social values. In this context, Islamization cannot be considered solely as a process of strengthening religiosity, since it affects a broader range of issues related to identity, culture, social integration and nation-building.

Disintegrative Trends of Islamization in the Context of Nation-Building

Alongside its integrative potential, associated with social solidarity, moral values, and historical continuity, contemporary Islamization in Kazakhstan may also generate certain disintegrative tendencies. These tendencies should not be understood as an inevitable consequence of increasing religiosity. Rather, they emerge when religious, national-cultural, and secular-civic identities come into tension, producing competing interpretations of social norms, collective identity, and legitimate public behavior.

Case 1: The Hijab and Secular Education

The hijab remains a contentious and politicized issue in Kazakhstan. Many nationalists and ethnically oriented Kazakhs view it as a foreign, Arab influence rather than a traditional Kazakh practice [13, 14, 15]. While Kazakh intellectuals acknowledge the historical link between Kazakh culture and Islam, they caution that recent Islamization trends risk importing Arab cultural elements, including the hijab, potentially reshaping national identity and distorting traditional values [16]. Media outlets like Tengrinews often echo this stance, portraying the hijab as alien to Kazakh heritage. Articles regularly contrast the Arabic-style hijab with the traditional oramal, reinforcing the notion that the hijab represents cultural deviation [17,18, 19]. Muslims with ostensible religious attire are not allowed to hold public positions, or be hired by state research institutes, public schools and even public kindergartens. As a result, an increasing number of pious Muslims mainly work in the private sector, bazaars and trade centres, or at Islamic institutions and have become further marginalized.

The prohibition of wearing the hijab at schools and state institutions has led to heated debate and resistance from pious Muslims.

Recent surveys reveal that 15% of pious Muslims reported experiencing violations of their religious rights, while 18.4% indicated facing hidden forms of discrimination [20]. Focus group participants consistently highlighted episodes of stigmatization directed at individuals wearing hijabs or beards. This stigmatization, often amplified by media representations, manifests as a form of societal phobia and may lead to several negative outcomes, including the isolation of believers within their own communities, frustration due to limited opportunities in education and employment, and a decline in trust and loyalty toward state authorities [21].

One of the most visible examples is the continuing public controversy over the hijab and other forms of Islamic dress, particularly in secondary schools. State regulations concerning school uniforms are based on the principle of secular education and common requirements applicable to all students. At the same time, some Muslim parents regard the wearing of the hijab as an expression of religious freedom and religious identity.

The controversy therefore goes beyond clothing itself and raises a broader question about the boundaries between individual religious freedom and the secular character of public institutions. The issue resurfaced prominently in public debate in 2026, demonstrating that no broadly accepted social consensus has yet emerged regarding the place of visible religious symbols in secular educational institutions.

Case 2: Islamic Norms and “Kazakh Traditions”

A second area of tension concerns the relationship between Islamic norms and Kazakh national traditions. Islam has historically constituted an important component of Kazakh culture and identity. However, some contemporary manifestations of religiosity, particularly specific styles of Islamic dress, behavioral

norms, and forms of religious observance are sometimes perceived in public discourse as cultural practices imported from Arab or other Muslim societies rather than as expressions of indigenous Kazakh religious tradition.

This has produced an increasingly visible debate over what constitutes an “authentic” Kazakh tradition. For some, national customs and the historically established forms of Kazakh Islam are mutually compatible. Others place greater emphasis on religious prescriptions and may critically reassess particular customary practices if they are considered inconsistent with their understanding of Islam.

As a result, practices related to celebrations, music, ancestral traditions, visits to sacred places, and certain customary rituals can become subjects of religious reinterpretation. In its more pronounced form, this process may generate a symbolic opposition between what is regarded as “religiously correct” and “nationally traditional.”

Case 3: National Identity and the Transnational Muslim Ummah

A third potential source of differentiation is the strengthening of transnational Islamic identification. Global communication technologies, religious education abroad, social media, and the circulation of religious literature and online preaching have exposed Kazakhstani Muslims to diverse Islamic discourses originating in the Arab world, Turkey, South Asia, Russia, and other regions.

For some believers, identification with the global Muslim ummah may consequently become an increasingly important element of self-identification. This does not necessarily contradict national belonging. However, tensions may arise when a universal religious identity is explicitly prioritized over local cultural traditions or when national customs are rejected as religiously illegitimate.

These developments reveal a broader challenge for nation-building: what should constitute the primary basis of collective identity - ethnocultural tradition, religious belonging, or secular civic identity? In practice, these forms of belonging frequently overlap rather than exclude one another. Nevertheless, when they are constructed as mutually incompatible, they may create new symbolic boundaries between religious and non-religious citizens, between different groups of Muslims, and between competing understandings of Kazakh national identity.

Thus, the disintegrative potential of Islamization in Kazakhstan can be observed primarily in three interconnected areas: the contestation of religious symbols within secular institutions; tensions between particular interpretations of Islamic norms and national traditions; and the possible prioritization of transnational religious belonging over national-cultural identification. The central challenge for nation-building is therefore not Islamization itself, but the capacity of the state and society to accommodate growing religious diversity within a shared civic and national framework without marginalizing religious citizens or allowing any particular religious interpretation to become compulsory for society as a whole.

Conclusion

The potential of Islam in the nation-building process is twofold. On the one hand, Islam is able to perform an integration function by strengthening moral values, social solidarity, charity, historical memory and cultural heritage. The potential of localized Islam based on the interaction of the Hanafi tradition, the legacy of Ahmed Yasawi, Kazakh culture and modern civic identity is particularly significant. On the other hand, the spread of transnational Islamic discourses focused primarily on universal religious identity may create certain contradictions with local cultural norms and ideas about national identity.

Therefore, the key importance for Kazakhstan is not the very presence of various external Islamic influences, but the processes of their adaptation, interpretation and localization in Kazakh society. Depending on the nature of this adaptation, Islam can act as a resource for national and social integration or, conversely, contribute to the formation of value and identification boundaries. In this regard, it is advisable to consider the further development of Islamization in Kazakhstan through the prism of the correlation of transnational and local, religious and civil, Islamic and national-cultural components of identity.

Thus, sustainable nation-building presupposes not the opposition of Islam to national identity, but the search for mechanisms for their compatibility within the framework of a secular, multiethnic and civil state. It is the ability of various Islamic discourses to localize and integrate into the Kazakh cultural and social context that largely determines their integration or disintegration potential.

References

- 1 Breuilly J. The State and Nationalism in Understanding Nationalism / ed. by Montserrat Guibernau, John Hutchinson. Blackwell Publishers Ltd., 2001. – P. 48-49.
- 2 Guibernau M., Hutchinson J (eds). Understanding Nationalism. Malden, MA: Blackwell Publishers Inc., 2001. – P.1-9.
- 3 Abashin S. Gellner, the ‘saints’ and Central Asia: between Islam and Nationalism. Inner Asia. – 2005. - Vol. 7. - P.65–86. Global Oriental Ltd.
- 4 Yemelianova G.M. Islam, national identity and politics in contemporary Kazakhstan. Asian Ethnicity. – 2014. - Vol. 15, No. 3. - P.286–301. - URL: <http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2013.847643> (дата обращения 2024-10-23).
- 5 Malashenko, A. The Fight for Influence: Russia in Central Asia. Carnegie Endowment for International Peace, 2013. – 284 p
- 6 Султангалиева А.К. Возвращение ислама в Казахстан. – Алматы: Фонд «Алтынбека Сарсенбайулы», 2012. – 170 с. / Sultangalieva A.K. Vozvrashchenie islama v Kazakhstan. – Almaty: Fond «Altynbeka Sarsenbaiuly», 2012. – 170 s.
- 7 Вильковский Д.Н. Арабо-исламские организации в современном Казахстане: внешнее влияние на исламское возрождение. – Астана – Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014. – 192 с. / Vilkovskii D.N. Arabo-islamskie organizatsii v sovremennom Kazakhstane: vneshnee vliianie na islamskoe vrozozhdenie. – Astana - Almaty: IMEP pri Fonde Pervogo Prezidenta, 2014. - 192 s.

8 Yavuz, H. Is there a Turkish Islam? The Emergence of Convergence and Consensus // *Journal of Muslim Minority Affairs*. – 2004. – Vol. 24, No. 2. – P. 213-232.

9 Schwab, W. The Rhetoric of Islamic Debate in Kazakhstani Mass Media // *Central Asian Affairs*. – 2019. – Vol. 6. – P. 166-188.

10 Laruelle, M. Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities. BRILL, 2018. – ProQuest Ebook Central. – URL: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/tamucs/detail.action?docID=5264999>

11 Turam, B. A Bargain between the Secular State and Turkish Islam: Politics of Ethnicity in Central Asia // *Nations and Nationalism*. – 2004. – Vol. 10, No. 3. – P. 355-374.

12 Рух О. Глобализированный ислам: в поисках новой уммы. – М.: Фонд Марджани, 2018. – С. 7. / Roy O. Globalizirovannyi islam: v poiskakh novoi ummy. – М.: Fond Mardzhani, 2018. S 7.

13 Akhmetkyzy, Z. 2023. “Zeinap Akhmetova on the Kazakh Headscarf.” Bugin.kz. Accessed July 29, 2023. <https://www.facebook.com/Kun.KZDialog/videos/800460148843377/>.

14 Akhmetkyzy, Z. 2024. “If Religion Overrides the Nation, the Nation Will Disappear.” Kun.KZ.

15 Taizhan, M. 2024. “Official Site of Nationalism.” <https://www.facebook.com/groups/1792554430760632/>.

16 Kenjetai, D. 2017. “Education, Not the Headscarf, Should Be the Priority for Girls.” Interview for the Administration of Religious Affairs, Almaty. <https://religionmap.kz/ru/article/978>.

17 Tengrinews.kz. 2022. “Hijab is not Peculiar to Our People.” Newspaper outlet Tengrinews. October, 2022. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hidjab-bzdn-halyikka-tan-emes-476819/18 D. SIKHIMBAYEVA AND A. SADVOKASSOVA

18 Tengrinews.kz. 2023. “Hijab is not Peculiar to our People.” Newspaper outlet Tengrinews. October, 2022. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hidjab-bzdn-halyikka-tan-emes-476819/. “Disputes on Hijab in Kazakhstan.” Newspaper outlet Tengrinews. March, 2023. <https://www.facebook.com/Tengrinews.kz/posts/pfbid09sQ4rHPzJ9WARKNKt5Dkh52d1DFwKwRpUQogD7fy3ZcxkiRLas7ma4MJ8ZNtBa3il>.

19 Tengrinews.kz. 2024. “Our People Never Wore Black Clothing. And Women Only Put on a Headscarf After the Betrothal, Experts Say.” May, 2024. Newspaper outlet Tengrinews. https://tengrinews.kz/article/chernyie-odeyaniya-nash-narod-ne-nosil-jenschinyi-nadevali-2395/?fbclid=IwY2xjawHNBhhleHRuA2FlbQIxMAABHaRJ6bq-27qM_pqGNOsE-6iHMvi5qejTa5DXCg9V_y0sibw0oMHQTB_9cTg_aem_yN4Kh8UBTXgfu_PdbCN2Qg.

20 Sikhimbayeva, D., Tasbolat, A., and Kalmurat, E. 2024. Nation-Building and Islamization in Kazakhstan: History, Discourses, and Identity. Almaty: IPHPR.

21 Analytical Report. 2023. Socio-Political and Religious Attitudes of Muslims. Astana: Institute “Public Opinion”. 35.

Взаимосвязь межэтнических конфликтов и социально-экономической ситуации: на примере южных регионов Казахстана*

Додонов Вячеслав Юрьевич

Современная научная мысль ассоциирует социальную нестабильность, в том числе, межэтнические конфликты с неблагоприятными экономическими условиями, прежде всего, с такими факторами, как длительная бедность и значительное имущественное неравенство и неравенство доходов. В периоды сочетания этих двух условий, которое зачастую происходит во время острых экономических кризисов, возникновение конфликтов получает дополнительный импульс, так как значительно повышается уровень социальной напряженности и протестных настроений. В этой связи представляет интерес оценка ситуации в южных регионах Казахстана с точки зрения влияния на возникновение межэтнических конфликтов указанных факторов, связанных с экономическим базисом, то есть, с доходами и их неравенством.

Гипотезой, подлежащей проверке, является наличие взаимосвязи между ухудшением уровня жизни, а также усилением неравенства доходов в южных областях¹ Казахстана с возникновением и частотой межэтнических конфликтов. Под межэтническими конфликтами при этом понимаются только относительно массовые выступления, в которых принимало участие достаточно большое количество граждан – десятки и выше. В ХХІ веке таких конфликтов в южных областях Казахстана было девять (в хронологическом порядке):

1. Ноябрь 2006 года - в селе Шелек Алматинской области.
2. Март 2007 года - в селах Маловодное и Казатком Алматинской области
3. Ноябрь 2007 года - в поселке Маятас Южно-Казахстанской области.
4. Август 2014 года - в селе Карамурт Южно-Казахстанской области.
5. Февраль 2015 года - в селе Бостандык Южно-Казахстанской области.
6. Февраль 2016 года - в селе Бурыл Жамбылской области.
7. Февраль 2020 года - в селе Масанчи Жамбылской области.
8. Июль 2020 года - в селе Космезгил Туркестанской области.
9. Октябрь 2021 года - в поселке Пиджим Алматинской области.

Для выявления наличия или отсутствия взаимосвязи между этими конфликтами и ситуацией с уровнем жизни населения южных областей (Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской – впоследствии Туркестанской) будут исследованы показатели, отражающие

* Исследование проведено в рамках финансирования Комитета науки МНВО РК – грант ИРН AP23489872 «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.).

¹ В рамках настоящего исследования к числу рассматриваемых южных регионов будут отнесены только области, без городов Алматы и Шымкента, так как в указанных мегаполисах, во-первых, значительно выше уровень жизни и, во-вторых, в них не фиксировалось значимых межэтнических конфликтов.

доходы населения данных областей – среднемесячная заработная плата и среднедушевые номинальные денежные доходы населения. В процессе оценки неравенства доходов будут исследованы два аспекта, влияющих на восприятие населением справедливости распределения общественных благ – разрыв между указанными показателями в рассматриваемых регионах и их средними по Казахстану уровнями, а также коэффициент Джини, отражающий неравенство доходов внутри областей. Для оценки взаимосвязи между доходами и их неравенством соответствующие показатели будут рассматриваться в динамике с целью выявления совпадения дат межэтнических конфликтов с периодами ухудшения данных показателей.

Первым показателем в процессе проводимого анализа является среднемесячная заработная плата, определяющая уровень доходов большинства населения, в том числе, в южных областях. Данные по этому показателю для четырех южных областей с 2001 года приведены в таблице 1. Эти данные демонстрируют, что на всем протяжении первой четверти XXI века размер средней заработной платы во всех южных областях был ниже уровня для Казахстана в целом.

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата в южных областях Казахстана в сопоставлении с республиканским уровнем, тенге².

	Республика Казахстан	Алматинск ая	Жамбылска я	Кызылорди нская	Южно- Казахстанс кая	Туркестанс кая
2001	17303	11683	10750	14160	11542	
2002	20323	14278	13437	17046	13635	
2003	23128	15933	14779	19928	15309	
2004	28329	20180	19131	26400	19386	
2005	34060	24436	22542	30948	22854	
2006	40790	29779	26750	36116	27586	
2007	52479	39483	33996	46859	36707	
2008	60805	44327	37546	53333	41679	
2009	67333	49715	43951	60227	48610	
2010	77611	58430	51340	69753	57545	
2011	90 028	67 638	61 825	81 518	67 721	
2012	101 263	77 320	72 296	93 361	75 467	
2013	109 141	81 596	76 742	98 813	78 705	
2014	121 021	89 283	81 874	104 485	84 550	
2015	126 021	90 445	85 298	106 332	85 693	
2016	142 898	104 903	96 044	118 963	99 182	
2017	150 827	110 387	100 536	124 107	103 225	
2018	162 673	115 101	109 720	130 391		104136
2019	186 815	136 212	127 043	152 085		123853
2020	213 003	168 313	156 846	178 174		158762

² Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-wags/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.02.2026).

2021	250 311	207 592	195 922	212 777		195302
2022	309 697	261 228	234 526	265 738		237189
2023	364 295	295 130	269 125	313 493		270660
2024	405 416	328 536	299 972	344 381		295251

Более наглядно величина разрыва между республиканским размером средней заработной платы и соответствующим показателем для четырех южных областей приведена на графиках рисунка 1. Эти графики показывают, что минимальный разрыв между средней зарплатой по Казахстану и областным показателем на всем протяжении рассматриваемого периода был в Кызылординской области (от 7 до 20%), а максимальный – в Жамбылской (от 29 до 38%). В 2018 году, после того, как из состава Южно-Казахстанской области был выведен город Шымкент, что привело к ухудшению показателей оставшейся без него Туркестанской области, максимальный разрыв по уровню средней заработной платы стал фиксироваться в этом регионе, хотя Жамбылская область имела очень близкие показатели, иногда перехватывая лидерство. Средний по четырем областям показатель был также достаточно велик, меняясь в интервале от 19 до 30,5%, то есть, разрыв в заработной плате между югом страны и ее средним по Казахстану уровнем был очень значительным в течение всех 25 лет. Этот разрыв, безусловно, создавал условия для социальной напряженности вследствие недовольства населения южных областей худшим уровнем жизни в сравнении с другими регионами. Также можно отметить, что в течение последних нескольких лет указанный разрыв в оплате труда несколько сократился – средний показатель опустился до уровней около 20%, что заметно ниже значений предыдущих двух десятилетий, когда он составлял более 26%. Но это снижение пока что нельзя охарактеризовать как устойчивую тенденцию, а его размер недостаточно сильно влияет на социально-экономическую ситуацию и уровень жизни населения юга Казахстана.

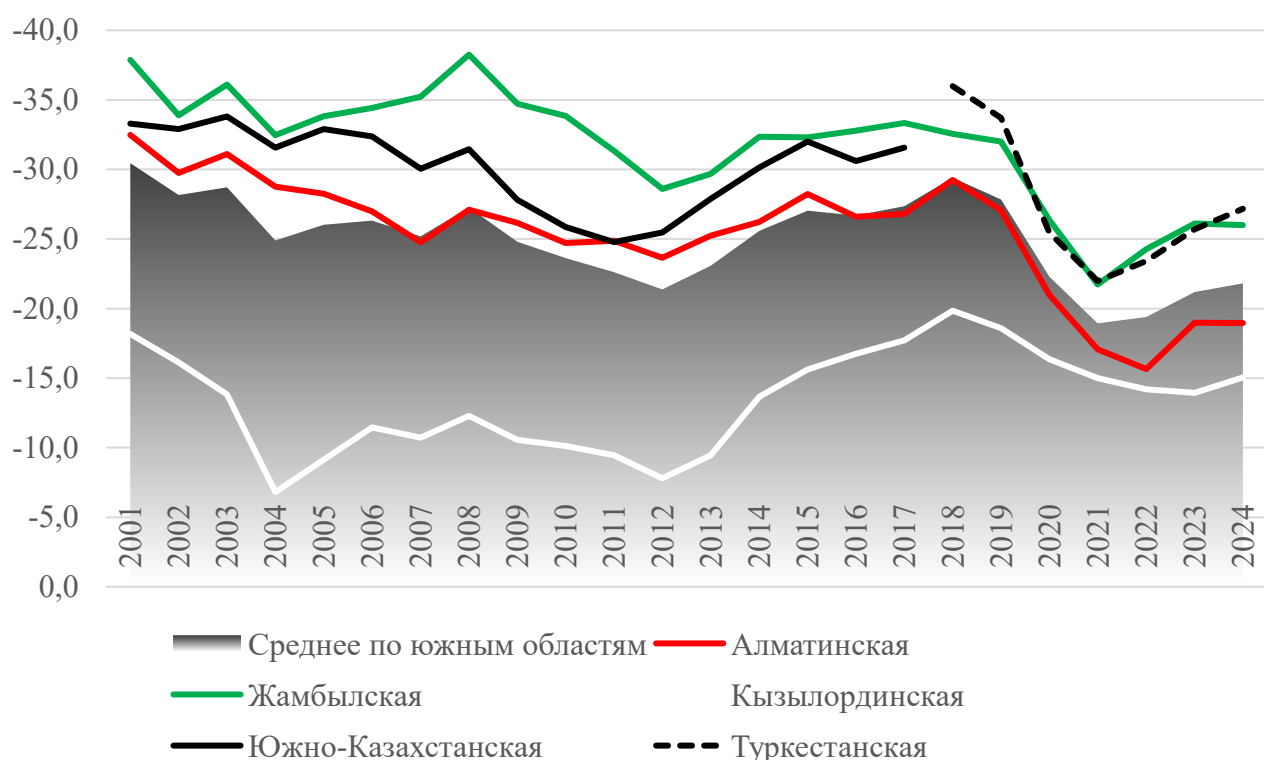


Рисунок 1. Разница между средними заработными платами в южных областях и средней заработной платой в Казахстане, % (обратный порядок значений).³

Еще более точным индикатором, отражающим ситуацию с уровнем жизни, является показатель среднедушевых номинальных денежных доходов, поскольку он охватывает не только работающее и получающее заработную плату население, а все его слои. Этот показатель за тот же временной интервал в южных областях, так же, как и средняя заработная плата, демонстрирует значительное отставание от республиканского уровня. Данные по динамике абсолютного размера денежных доходов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в южных областях Казахстана в сопоставлении с республиканским уровнем, тенге⁴.

	Республика Казахстан	Алматинская	Жамбылская	Кызылординская	Южно-Казахстанская	Туркестанская
2001	7670	4685	4001	5618	3713	-
2002	8958	5739	4909	6535	4586	-

³ Рассчитано по данным из следующего источника: Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-wags/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.02.2026).

⁴ Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (годовые). Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-life/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.02.2026).

2003	10533	6594	5567	7771	5288	-
2004	12817	8193	6917	9553	6433	-
2005	15787	9486	9101	12385	8206	-
2006	19152	12534	11885	14602	10790	-
2007	25226	16838	16669	18889	14308	-
2008	32984	22877	20796	29052	20320	-
2009	34282	22588	23589	31168	21238	-
2010	39014	26476	28333	34653	23280	-
2011	45918	34077	30783	41802	26974	-
2012	51860	39106	34607	43931	31600	-
2013	56453	43352	36539	46477	33807	-
2014	62271	47557	39764	49998	34688	-
2015	67321	53860	43143	49400	35830	-
2016	76575	60351	48057	56252	43103	-
2017	83710	64072	54564	62630	42684	-
2018	93135	69652	61301	66924	-	43937
2019	104282	79528	70330	76971	-	52650
2020	116126	86606	80516	85142	-	63443
2021	130616	101709	90255	92531	-	69103
2022	164438	124587	112952	120896	-	90078
2023	189953	131885	129051	136698	-	103735
2024	215979	154919	150627	153751	-	121620

Так же, как и в случае с показателем средней заработной платы, наблюдается отставание размера среднедушевых доходов во всех без исключения южных областях и во все без исключения годы с 2001 по 2024. Величина этого разрыва в процентах относительно среднего по Казахстану уровня приведена на графиках рисунка 2, и она еще больше, чем в случае с заработной платой, что обусловлено традиционно большим размером семей в южных регионах, ведущим к распределению доходов на большую численность неработающего населения.

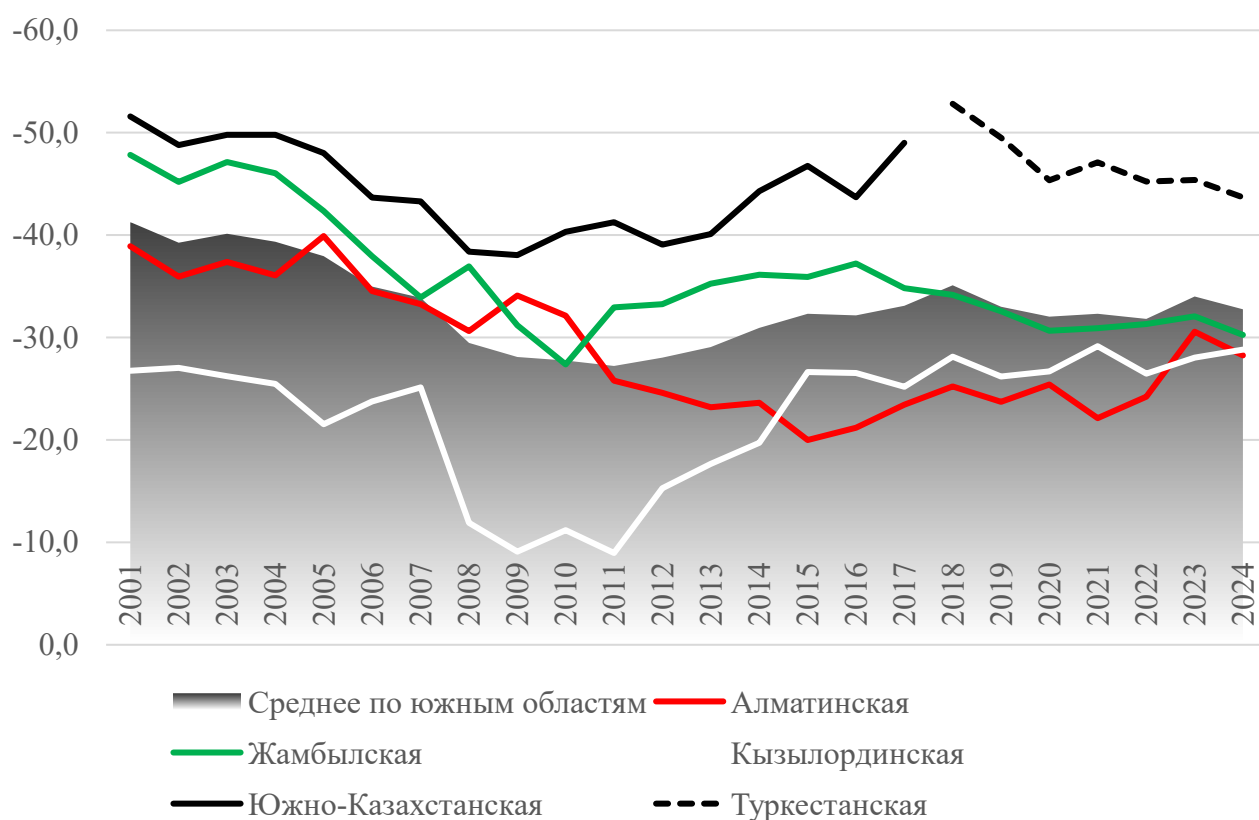


Рисунок 2. Разница между среднедушевыми доходами в южных областях и по Казахстану, % (обратный порядок значений).⁵

Так же, как и в случае с заработной платой, минимальный разрыв между республиканским и областными показателями наблюдается в Кызылординской области, однако, с 2015 года более благополучной стала ситуация в Алматинской области. В отличие от разрыва в уровне зарплат, максимальный разрыв в доходах устойчиво принадлежит не Жамбылской, а Южно-Казахстанской/Туркестанской области, где этот показатель находится в интервале 40-50%, в отдельные годы даже превышая 50-процентный уровень. Еще одним отличием разрыва в доходах по сравнению с зарплатами является отсутствие сокращения этого разрыва в последние годы, который сохраняется на очень высоком уровне, причем по каждой области – тут уместно отметить, что в Кызылординской области ситуация значительно ухудшилась с 2013-14 годов, - и по среднему показателю, который устойчиво превышает 30-процентный уровень. Таким образом, ситуация с неравенством доходов по географическому признаку в Казахстане характеризуется как устойчиво негативная и отражает значительное региональное неравенство доходов с большим и постоянным отставанием четырех южных областей, что создает предпосылки для повышенной социальной напряженности в этих регионах.

⁵ Рассчитано по данным из следующего источника: Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (годовые). Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-life/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.02.2026).

Если же рассматривать неравенство доходов внутри южных регионов в сопоставлении с республиканскими показателями, то основным индикатор этого неравенства – коэффициент Джини – во всех случаях заметно ниже республиканского уровня. Меньшие значения данного коэффициента фиксировались в течение всего рассматриваемого периода – с 2001 по 2024 годы (таб.3), и на протяжении большей его части это отставание было достаточно велико. Средний за 24-летний период разрыв между областным и республиканским коэффициентами Джини составил для Алматинской области 9%, для Кызылординской – 17%, для Жамбылской – 19%, для Южно-Казахстанской (с 2001 по 2017 годы) – 24%, для Туркестанской области (с 2014 по 2024 годы) – 32%.

Таблица 3. Коэффициент Джини по 10-процентным группам в южных областях Казахстана в сопоставлении с республиканским уровнем⁶.

	Республика Казахстан	Алматинска я	Жамбылска я	Кызылорди нская	Южно- Казахстанс кая	Туркестанс кая
2001	0,366	0,331	0,31	0,28	0,313	-
2002	0,328	0,302	0,293	0,323	0,275	-
2003	0,315	0,259	0,264	0,293	0,241	-
2004	0,305	0,256	0,229	0,292	0,227	-
2005	0,304	0,267	0,222	0,248	0,242	-
2006	0,312	0,28	0,256	0,276	0,247	-
2007	0,309	0,297	0,251	0,278	0,24	-
2008	0,288	0,273	0,232	0,226	0,227	-
2009	0,267	0,227	0,195	0,228	0,223	-
2010	0,278	0,263	0,221	0,226	0,21	-
2011	0,29	0,246	0,248	0,255	0,213	-
2012	0,284	0,254	0,236	0,24	0,203	-
2013	0,276	0,245	0,217	0,225	0,202	-
2014	0,278	0,247	0,225	0,223	0,197	0,182
2015	0,278	0,255	0,221	0,21	0,194	0,18
2016	0,278	0,257	0,221	0,202	0,204	0,187
2017	0,287	0,275	0,23	0,236	0,21	0,194
2018	0,289	0,28	0,227	0,248	-	0,188
2019	0,29	0,281	0,236	0,238	-	0,186
2020	0,291	0,286	0,229	0,229	-	0,192
2021	0,294	0,28	0,22	0,23	-	0,192
2022	0,285	0,271	0,221	0,228	-	0,209
2023	0,29	0,243	0,254	0,227	-	0,22
2024	0,296	0,241	0,256	0,237	-	0,214

То есть, ситуация с неравенством доходов в южных областях Казахстана более благополучна, так как разрыв в доходах между наиболее и наименее

⁶ Коэффициент Джини, по 10% группам населения (годовые). Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-life/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.02.2026).

обеспеченными группами населения ниже, чем по стране в целом. Соответственно, и для недовольства граждан социальной справедливостью в этих регионах должно быть меньше предпосылок. В то же время нельзя не отметить тот факт, что коэффициент Джини в южных областях в рассматриваемый период отличался достаточно неровной динамикой, иногда сопровождавшейся сильными скачками значений, которые могут отражать периодический рост неравенства доходов.

Оценивая возможные совпадения происходивших в Казахстане массовых межэтнических конфликтов с динамикой показателей доходов и их неравенства, следует предварительно отметить несколько более общих их особенностей. Первой из них, на наш взгляд, является тот факт, что конфликты происходили не во всех областях, они не отмечались в Кызылординской области. Именно эта область значительно отличается от других южных регионов уровнем средней заработной платы и среднедушевых денежных доходов, как было показано выше, в частности, на рисунках 1 и 2. В этой области минимальное по югу отставание этих двух показателей от республиканского уровня и более высокий уровень как зарплат, так и доходов (на 25-30%), чем в трех других южных областях. Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что в данном регионе социально-экономические предпосылки социальной напряженности и, в частности, межэтнических конфликтов менее выражены, чем в других трех областях, но следует также учитывать и максимальную этническую однородность этого региона. В этом же контексте можно отметить, что большинство конфликтов (4 из 9) произошли в Южно-Казахстанской / Туркестанской области, в которой отмечаются худшие по югу показатели доходов (размер средней заработной платы и среднедушевых доходов населения) и их максимальный отрыв от средних по Казахстану уровней. Таким образом, существует определенная взаимосвязь между уровнем доходов и количеством конфликтов даже в столь ограниченной выборке регионов и случаев.

Второй особенностью межэтнических конфликтов является их временная концентрация. Все конфликты первой четверти XXI века сосредоточены всего в трех коротких временных интервалах: три конфликта имели место в 2006-2007 года, следующие три – в 2014-2016 годах и еще три – в 2020-21 годах. Два из трех этих периодов – середина 2010-х годов и 2020-21 годы были сложными для казахстанской экономики и характеризовались многими негативными явлениями (в основе которых лежало сильное падение нефтяных цен), в том числе, замедлением или даже сокращением (в 2020 г.) экономического роста, резким снижением курса тенге, замедлением роста реальных доходов населения (и даже их снижением в 2016 г.), ускорением инфляции (которая в 2015 году впервые с 90-х годов стала двузначной) и т.д. То есть, две группы конфликтов происходили на фоне значительных макроэкономических проблем, которые в отдельные годы можно было даже характеризовать как кризисы. Но ситуация в середине 2000-х годов, когда произошли первые три из рассматриваемых конфликтов, была благополучной в макроэкономическом отношении. Таким образом, хотя большинство

конфликтов происходило в периоды сложных и даже кризисных ситуаций в экономике, однозначно связывать их возникновение с макроэкономической средой нельзя.

Третьей особенностью, на наш взгляд, является неприменимость к оценке ситуации с социально-экономическим самочувствием населения в отдельных регионах, включая южные, такого признанного индикатора, как индекс реальных денежных доходов населения, в том числе, в контексте гипотетической взаимосвязи с рассматриваемыми конфликтами. Этот индикатор, как динамический, то есть, рассчитываемый относительно предыдущих периодов, не в полной мере отражает фактическую ситуацию с доходами в конкретные годы, так как может показывать более или менее интенсивное изменение в зависимости от базового значения. Это проявляется и при попытке сопоставить индекс реальных доходов в южных областях с республиканскими его значениями и с периодами межэтнических конфликтов (рис. 3).



Рисунок 3. Индекс реальных денежных доходов населения южных областей Казахстана в сопоставлении с республиканским показателем.⁷

Графики рисунка 3 демонстрируют достаточно отличную от казахстанского показателя динамику индекса реальных доходов как в среднем по четырем южным областям, так и в каждой из них в отдельности, в том числе, в проблемные с точки зрения межэтнических конфликтов периоды. Так,

⁷ Индекс реальных денежных доходов (годовые). Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-life/dynamic-tables/> (дата обращения: 13.02.2026).

в 2006-2007 годах индекс реальных доходов населения рос в южных регионах значительно интенсивнее, чем в среднем по Казахстану, в том числе, в Алматинской области, где произошло два из трех конфликтов, а в Южно-Казахстанской области в 2007 году (год конфликта) он был практически на одном уровне с республиканским показателем и значительно выше него в предыдущие два года. В 2014-16 годах средний по четырем областям индекс реальных доходов был ниже казахстанского уровня, в том числе, в Южно-Казахстанской области – имел отрицательные значения в оба года конфликтов (2014 и 2015), так же, как в Жамбылской в 2016 году (где, впрочем, он был очень близок к среднему по стране уровню). В данном случае правомерно сделать вывод о наличии экономических предпосылок для роста социальной напряженности на фоне постоянного снижения реальных доходов населения в Южно-Казахстанской области. В 2020-21 годах реальные доходы росли во всех четырех южных областях, причем в большинстве из них – более высокими темпами, чем средний по Казахстану индекс, поэтому в данном случае этот показатель также не имеет связи с конфликтами. Таким образом, ухудшение индекса реальных денежных доходов населения происходило в период межэтнических конфликтов только в двух случаях из девяти (в 2014 и в 2015 годах в Южно-Казахстанской области), что не позволяет рассматривать этот показатель как индикатор роста социальной напряженности, связанный с конфликтами на межэтнической почве.

На наш взгляд, более релевантными индикаторами уровня и неравенства доходов, связь которых с межэтническими конфликтами можно рассматривать в качестве гипотезы, являются отклонение среднедушевых доходов в регионах от среднего по стране уровня и коэффициент Джини. Оба эти показатели отражают неравенство доходов – меж- и внутрирегиональное и, тем самым, могут влиять на восприятие гражданами социальной справедливости, отсутствие которой широко признано как катализатор социальной нестабильности – как в целом (Cederman et al., 2013; Justino, 2025), так и в отдельных регионах мира (DiPasquale, D, Glaeser, 1998; Косевич, 2020), включая постсоветское пространство (Капустина, 2024), в том числе, и как фактор межэтнических конфликтов (Alesina et al, 1999; Alcorta et al., 2018).

Для проверки взаимосвязи между показателем отклонения среднедушевых денежных доходов от республиканского уровня и имевшимися межэтническими конфликтами было проведено сопоставление периодов этих конфликтов с данным показателем исходя из гипотезы о том, что всплеск социальной напряженности, перерастающий в конфликты может быть вызван либо резким ухудшением ситуации с доходами, либо их значительно меньшим уровнем по сравнению со средними в макрорегионе (юг Казахстана). Ухудшение оценивалось на основании роста рассматриваемого показателя относительно предыдущего года, который отражает увеличение отрыва областного размера средних доходов от республиканского показателя, а хронически меньший уровень доходов – на основе сопоставления областного показателя со средним по четырем южным областям. Результаты проведенного сопоставления приведены в таблице 4.

Таблица 4. Тестирование показателя отклонения среднедушевых денежных доходов по областям и годам межэтнических конфликтов.

		2006	2007	2014	2015	2016	2020	2021
Значение выше среднего по южным областям	Алматинская	нет (34,6 / 35,0)	нет (33,3 / 33,9)					нет (22,1 / 32,3)
	Жамбылская					да (37,2 / 32,2)	нет (30,7 / 32,0)	
	Южно-Казахстанская/Туркестанская		да (43,4 / 33,9)	да (44,3 / 30,9)	да (46,8 / 32,3)		да (45,4 / 32,0)	
Значение хуже, чем в предыдущий год	Алматинская	нет (34,6 / 39,9)	нет (33,3 / 34,6)					нет (22,1 / 25,4)
	Жамбылская					да (37,2 / 35,9)	нет (30,7 / 32,6)	
	Южно-Казахстанская/Туркестанская		нет (43,3 / 43,7)	да (44,3 / 40,1)	да (46,8 / 44,3)		нет (45,4 / 49,5)	

Более высокое значение показателя отклонения размера доходов от республиканского уровня, которое иллюстрирует и более острую проблему с доходами в каждом регионе для той или иной области в годы конфликтов отсутствовало в Алматинской области, в Жамбылской области было отмечено один раз из двух, а в Южно-Казахстанской (позднее – Туркестанской) имело место в годы всех четырех конфликтов, то есть, в пяти случаях из девяти. Ухудшение ситуации с доходами, отражаемое более высоким значением показателя по сравнению с предыдущим годом, было отмечено в трех случаях из девяти, и ни в одной из областей не фиксировалось в большинстве конфликтных лет. На наш взгляд, интерпретация этих результатов может быть следующей. Экстремально низкий абсолютный размер денежных доходов, настолько низкий, что он отстает от среднего уровня по проблемному в этом отношении макрорегиону Южного Казахстана, может выступать катализатором межэтнических конфликтов, как это показывает пример Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Ухудшение ситуации с доходами не может быть признано триггером межэтнических конфликтов, так как в годы конфликтов такое ухудшение фиксировалось в меньшинстве случаев.

Рассматривая такой фактор социальной напряженности, как низкий абсолютный уровень доходов, можно обратиться к еще одному отражающему его показателю – доле населения, имеющей доходы ниже величины прожиточного минимума. В таблице 5 представлены значения этого показателя для трех южных областей в годы межэтнических конфликтов, а также (указано в скобках) место областей, в которых происходили конфликты среди других регионов Казахстана. Методика расчета величины прожиточного минимума в Казахстане неоднократно менялась, с чем связан и большой разброс значений приведенного в таблице показателя, но в данном случае смысл его рассмотрения связан не с абсолютным размером, а с местом

областей конфликтов среди других регионов Казахстана, в которых таких конфликтов не было.

Таблица 5. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума и позиция по этому показателю среди других регионов Казахстана по областям и годам межэтнических конфликтов, % (позиция из общего количества регионов)⁸.

	2006	2007	2014	2015	2016	2020	2021
Алматинская	21,3 (7/16)	18,1 (3/16)					3,4 (14/17)
Жамбылская					3,3 (4/16)	5,8 (6/17)	
Южно-Казахстанская (Туркестанская)		14,3 (5/16)	6,1 (1/16)	5,3 (1/16)		12,2 (1/17)	

В этом отношении показателен тот факт, что единственным регионом, в котором высокий конфликтный потенциал можно объяснить экстремальной ситуацией с доходами, является Южно-Казахстанская (Туркестанская) область, которая в годы конфликтов трижды имела худшее по Казахстану значение этого показателя (и не только в эти годы). В остальных случаях межэтнические конфликты происходили в областях, в которых в соответствующие периоды либо не было чрезмерных уровней этого показателя, либо даже в годы, когда этот показатель отражал достаточно благоприятную ситуацию (особенно в Алматинской области). Иными словами, регионы в годы конфликтов в большинстве случаев не имели высокой доли экстремально бедного населения, во многих других областях ситуация была хуже, но такого рода конфликтов не возникало.

Если же рассматривать в качестве фактора межэтнических конфликтов неравенство доходов, в том числе, его увеличение, то сопоставление значений коэффициента Джини с периодами их возникновения не подтверждает наличия соответствующей взаимосвязи. В большинстве случаев в годы конфликтов и в тех регионах, где они происходили, данный показатель не имел значительных отличий ни от своих средних значений (как для соответствующей области, так и при сопоставлении со средним по южным регионам уровнем), ни от предыдущих лет. Более того, только в двух из девяти случаев конфликты происходили в годы, когда коэффициент Джини рос относительно уровня предыдущего года, то есть, неравенство доходов увеличивалось. Это были два года (2006 и 2007), в которые происходили конфликты в Алматинской области, когда было отмечено последовательное и значительное увеличение этого показателя до 0,28 (с 0,267) и 0,297, соответственно. В остальных случаях этот коэффициент либо оставался на

⁸ Составлено по данным из следующего источника: Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (годовые). Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-life/dynamic-tables/> (дата обращения: 15.02.2026).

прежнем уровне, либо снижался. Эти данные, на наш взгляд, не позволяют рассматривать изменение неравенства доходов на уровне областей в качестве фактора межэтнических конфликтов. Низкая роль этого фактора также может обуславливаться меньшим неравенством доходов в южных областях по сравнению с другими регионами.

Подводя итог проведенному анализу динамики показателей, характеризующих доходы населения в сопоставлении с периодами межэтнических конфликтов в южных областях Казахстана, можно сделать следующие выводы:

1. Большая часть конфликтов, шесть из девяти, происходила в периоды значительного осложнения макроэкономической ситуации в Казахстане, которое сопровождалось и ухудшением экономического положения населения во многих аспектах (ростом инфляции, стагнацией или снижением реальных доходов, и пр.) и могло стать причиной роста социальной напряженности в целом.

2. В двух из четырех южных регионов Казахстана наблюдается взаимосвязь между показателями оплаты труда и доходами – с одной стороны, и количеством межэтнических конфликтов – с другой. В области с лучшими показателями оплаты труда и доходов – Кызылординской – таких конфликтов не было, а в области с худшими показателями доходов – Южно-Казахстанской (впоследствии – Туркестанской) количество таких конфликтов было максимальным.

3. По большинству показателей, характеризующих доходы населения, включая среднемесячную заработную плату, среднедушевые денежные доходы населения (в том числе, отклонение этих показателей от среднего по Казахстану уровня), индекс реальных денежных доходов, а также долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума не выявлено значимых уровней этих показателей (отражающих экстремально низкие доходы или их ухудшение) в годы конфликтов. Единственное совпадение такого рода показателей с периодами конфликтов отмечено в Южно-Казахстанской (Туркестанской) области для показателя среднедушевых денежных доходов.

4. Не выявлено значимых изменений в коэффициенте Джини, отражающем неравенство доходов, в большинстве случаев конфликтов; также отмечены более низкое значение этого индикатора во всех южных регионах по сравнению со средним по Казахстану уровнем и тенденция к его снижению, которое происходило и в большинстве годов, когда отмечались конфликты. Таким образом, неравенство доходов или его изменения в южных регионах не могут быть связаны с возникновением межэтнических конфликтов, во всяком случае, при измерении на уровне области.

В целом, в отношении экономических факторов, которые можно рассматривать в качестве предпосылок межэтнических конфликтов, происходивших в Казахстане в первой четверти XXI века можно прийти к выводу, что они не являлись непосредственным триггером возникновения данных конфликтов. В то же время, тот факт, что большинство этих

конфликтов совпадали по времени с периодами кризисных явлений в экономике Казахстана и имели место в регионе с самым низким уровнем доходов, позволяет сделать вывод о том, что неблагоприятные экономические условия создают предпосылки, своего рода благоприятный фон для конфликтов, которые возникают на почве имеющихся проблем в межэтнических отношениях неэкономического характера и могут обостриться в условиях еще большего снижения уровня жизни, спровоцированного кризисами.

Список использованных источников:

1. Cederman L.-E. Inequality, Grievances, and Civil War / L.-E. Cederman, K. S. Gleditsch, H. Buhaug. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 335 с.
2. Justino P. Revisiting the links between economic inequality and political violence: The role of social mobilization // World Development. — 2025. — Vol. 185. — Art. 106820. — DOI: 10.1016/j.worlddev.2024.106820.
3. DiPasquale D. The Los Angeles Riot and the Economics of Urban Unrest / D. DiPasquale, E. Glaeser // Journal of Urban Economics. — 1998. — Vol. 43, iss. 1. — P. 52–78. — DOI: 10.1006/juec.1996.2035.
4. Косевич Е. Иерархия мотивов латиноамериканского протеста / Е. Косевич // Международные процессы. — 2020. — Т. 18, № 2(61). — С. 92–109. — DOI: 10.17994/IT.2020.18.2.61.5.
5. Капустина Н. В. Влияние неравенства доходов на экономический рост и социальную стабильность: региональные и отраслевые перспективы / Н. В. Капустина // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16, № 4.
6. Alesina A. Public Goods and Ethnic Divisions / A. Alesina, R. Baqir, W. Easterly // The Quarterly Journal of Economics. — 1999. — Vol. 114, iss. 4. — P. 1243–1284.
7. Alcorta L. Inequality and Ethnic Conflict in Sub-Saharan Africa / L. Alcorta, J. Smits, H. J. Swedlund // Social Forces. — 2018. — Vol. 97, iss. 2. — P. 769–792. — URL: <https://www.jstor.org/stable/26563384>.
8. Barro R. Inequality and Growth in a Panel of Countries / R. Barro // Journal of Economic Growth. — 2000. — Vol. 5, iss. 1. — P. 5–32.
9. Hotard M. Differences Lead to Differences: Diversity and Income Inequality Across Countries : Master's Theses – Economics / M. Hotard. — 2008. — URL: <https://ir.library.illinoisstate.edu/mte/13>.
10. Casey G. Inequality and fractionalization / G. Casey, A. Owen // World Development. — 2014. — № 56. — P. 32–50.

CENTRAL ASIAN MIGRATION TO THE BALTIC AND NORDIC COUNTRIES: HISTORICAL DEVELOPMENT, CURRENT TRENDS AND MIGRATION REGIMES

Larisa Kangaspuro, Botagoz Rakisheva

Abstract. Migration from Central Asia to the Baltic and Nordic countries remains less studied than established post-Soviet migration corridors. Yet during the past decade, and especially in the early 2020s, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, Denmark, Norway and Iceland have become increasingly visible, though highly unequal, destinations for migrants from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. This article compares the historical development, contemporary scale and composition of these movements and asks why migration has expanded rapidly in some neighbouring destinations while remaining limited or taking different forms in others. Drawing on Eurostat data, national statistics, official policy sources and recent scholarship, it distinguishes migrant stocks, recent flows and grounds for residence. The framework combines migration-systems theory with migration infrastructure and destination migration regimes. The article interprets recent growth as diversification within an evolving migration system rather than replacement of established destinations. Routes consolidate where labour or educational demand is connected to infrastructures capable of organising repeated mobility and where national regimes translate these opportunities into legal channels. Lithuania has become the principal employment and logistics hub; Latvia combines labour and education; Estonia provides smaller temporary and employment routes; Finland has grown rapidly from a low base; Sweden has a larger and more heterogeneous migration history; and Norway, Denmark and Iceland remain smaller destinations. The comparison shows that diversification is institutional as well as geographical.

Keywords: Central Asia; Baltic states; Nordic countries; migration diversification; migration systems; migration infrastructure; migration regimes; labour migration.

Introduction

International migration from Central Asia has undergone substantial geographical diversification during the past decade. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan have long been embedded in post-Soviet systems of mobility, while Russia developed into the principal external labour destination for Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan from the late 1990s and early 2000s [1; 2]. This well-established corridor remains important, but its scale has tended to obscure smaller and newer forms of Central Asian mobility elsewhere in Europe. The purpose of this article is not to reconsider migration to Russia, but to examine the emergence and differentiation of Baltic and Nordic destinations.

The Baltic and Nordic countries provide a particularly useful comparative setting. Geographically they form a compact northern European space, yet institutionally and economically they are heterogeneous. Estonia, Latvia and

Lithuania are EU member states with related Soviet historical legacies but substantially different labour markets and immigration trajectories. Finland and Sweden have longer-established immigration institutions; Denmark combines EU membership with distinctive migration arrangements; and Norway and Iceland are outside the EU but participate in the European Economic Area and Schengen cooperation. These differences make it possible to compare how broadly similar external pressures and migration aspirations are translated into sharply different destination outcomes.

The empirical divergence is striking. Lithuania has experienced exceptional growth in employment-related migration from Central Asia and has become a major organisational base for Central Asian workers in European road transport. Finland has recorded rapid proportional growth from a much smaller base. Latvia combines employment with educational migration, while Estonia remains a smaller destination in which temporary employment channels are significant. Sweden has a larger and more heterogeneous Central Asian-born population formed through several migration routes. Norway, Denmark and Iceland attract considerably smaller numbers. The region therefore cannot be understood as a single migration regime or a uniform “new destination.”

This article asks two questions: How has migration from Central Asia to the Baltic and Nordic countries developed, and what are its main contemporary patterns? What explains the highly uneven development of Central Asian migration across these destination countries? The analysis covers eight destination countries and the five post-Soviet Central Asian republics, including Turkmenistan. The comparative population and residence-permit indicators used here are reported by the destination countries through Eurostat rather than supplied by the Central Asian states themselves [13]. Turkmenistan nevertheless requires particular caution: although it is included systematically in these indicators, origin-country statistics and information on recruitment, labour-market destinations and migrant trajectories are substantially more fragmentary than for the other four Central Asian states, while small numbers in individual destination countries further limit disaggregation. Its more limited discussion should therefore not be interpreted as evidence that migration from Turkmenistan is absent. The analysis combines country-of-birth stocks, residence-permit data, official descriptions of admission systems and recent academic research.

The article makes three contributions. It combines population and permit indicators across the region; separates historically accumulated stocks from contemporary flows, especially for Kazakhstan; and explains destination variation through migration systems, infrastructure and admission regimes rather than through a general diversification narrative alone.

Three propositions guide the analysis. P1: the expansion of Central Asian migration towards the Baltic and Nordic countries represents diversification within an evolving migration system rather than the replacement of one dominant destination by another. P2: new routes are more likely to expand where labour or educational demand is connected to infrastructures capable of organising repeated mobility between origin and destination. P3: differences between destination

migration regimes shape not only the scale of migration but also its composition by admission channel and occupational or educational profile. These propositions structure the discussion of the empirical findings.

Literature Review

Research on international migration from Central Asia has developed around several partly overlapping fields. A large body of scholarship examines post-Soviet labour migration, migrant networks, informal institutions, legal regulation and transnational practices. Russia has understandably occupied a central position because of the scale and duration of migration from Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan [1; 2]. For this article, that scholarship provides the historical context from which diversification developed; the Russia-centred corridor itself is not the object of analysis.

A growing body of research now situates Central Asian migration within a wider process of destination diversification. This process predates 2022 and includes emerging routes to Europe as well as Asian and other destinations. Recent comparative scholarship explicitly places Northern Europe within this widening geography of Central Eurasian mobility [3]. The European dimension is especially visible in research on labour migration. Benedetti and colleagues identify road-haulage workers as an early component of a new Central Asia–EU labour route and connect this development to destination diversification [4, pp. 385–388]. Their evidence highlights Poland and Lithuania in employment-related residence permits and links Lithuania’s position to labour shortages and recruitment in road haulage [4, pp. 388–391]. The case shows that a destination becomes significant when labour demand is connected to employers, recruiters, documentation procedures and sectoral institutions capable of sustaining repeated mobility.

Nordic destinations form a third strand. Eraliev’s research on Uzbek migrants in Sweden established an important empirical basis for studying Central Asian migration in the region [7]. Eraliev and Urinboyev subsequently compared Uzbek migrants in Finland and Sweden, showing that Nordic mobility cannot be reduced to a single direct labour-migration route and that migrants navigate different institutional contexts [8, pp. 1–23]. These studies make the Nordic region visible within Central Asian migration research, but they focus on one national group and a limited number of destinations rather than regional variation.

The Baltic literature is similarly uneven. Lithuania is increasingly visible because of transport and logistics [4], whereas Latvia and Estonia appear more often in migration statistics, national reports and broader studies of third-country migration than in research specifically devoted to Central Asian migrants. Latvia is important because employment coexists with educational mobility, while Estonia’s short-term employment arrangements mean that temporary circulation can be more significant than resident stocks alone suggest. The scarcity of Central Asia-specific scholarships on these countries is therefore part of the research problem.

Existing research thus identifies diversification beyond established post-Soviet destinations, expanding EU employment routes, Lithuania’s transport role and Uzbek migration in Nordic countries. The main gap is comparative: the eight

Baltic and Nordic countries have rarely been analysed together to explain why geographically proximate states receive sharply different numbers and types of Central Asian migrants. This article addresses uneven destination geography rather than claiming that the region has previously been unstudied.

Theoretical Framework

The outcome to be explained is the uneven scale and composition of Central Asian migration across destination countries. Conventional push–pull accounts provide only a partial explanation. Wage differentials, employment opportunities and political conditions can help explain migration aspirations, but they do not adequately explain why neighbouring affluent countries develop very different migration patterns. The framework therefore combines migration-systems theory with two meso- and institutional-level concepts: migration infrastructure and destination migration regimes.

Migration-systems theory provides the broadest starting point. Since Mabogunje's original formulation, systems approaches have conceptualised migration as a set of durable and mutually reinforcing connections rather than a succession of isolated individual moves [10]. Bakewell's reformulation is particularly useful because it emphasises emergence, agency and social mechanisms and cautions against treating migration systems as static macro-structures [10, pp. 300–305]. Applied to Central Asia, this perspective implies that new European destinations need not replace established routes: a migration system can expand, acquire new nodes and generate feedback while older connections remain active. P1 therefore conceptualises Baltic–Nordic expansion as diversification within an evolving system.

At the meso level, migration infrastructure explains how potential destinations become operational routes. Xiang and Lindquist use the concept to capture the linked technological, institutional and organisational arrangements through which mobility is enabled and structured [12, pp. S122–S124]. Employers, recruitment agencies, state bodies, universities, transport companies, visa-processing institutions, digital platforms and migrant networks can therefore be analysed as linked mechanisms rather than separate influences. This is particularly useful for emerging corridors: labour or educational opportunities do not automatically generate migration unless information, recruitment, documentation and travel can be organised repeatedly. Lithuania's road-transport corridor illustrates the mechanism. P2 therefore expects faster growth where demand is coupled with infrastructure capable of converting opportunities into repeated mobility.

The third component is the destination migration regime. Regime perspectives direct attention to the institutional arrangements through which migration is governed while cautioning against reducing national systems to a single open–restrictive continuum [13, pp. 301–304]. Here the concept is used in a bounded sense: the configuration of employment permits, temporary and seasonal work, qualification and salary criteria, study routes and family admission. P3 expects these arrangements to shape both the scale and composition of Central Asian migration. Lithuania's employment system interacts with transnational transport; Latvia

combines work and study routes; Estonia institutionalises short-term employment; Finland combines employment, seasonal work and study; Norway emphasises skilled-worker qualifications; and Denmark uses occupational-shortage and salary-based routes.

The three elements perform distinct explanatory tasks. Migration systems locate Baltic and Nordic destinations within a widening geography of mobility; infrastructure explains how specific origin–destination links become operational and reproducible; and destination regimes explain why those links take different legal, occupational and educational forms. External shocks can increase incentives to diversify, but their effects vary because infrastructures and admission systems differ. The analytical question is therefore not simply why Central Asians migrate, but why particular routes become visible, accessible and reproducible while others remain marginal.

Data and Method

The article combines Eurostat data, national migration statistics, official policy documents and recent academic and policy research. The principal Eurostat datasets are Population on 1 January by age group, sex and country of birth (`migr_pop3ctb`), All valid permits by reason, length of validity and citizenship (`migr_resvalid`), and first permits by reason and citizenship (`migr_resfirst`). The comparative dataset used here was extracted on 17 August 2026 [14]. National sources are used to describe current admission routes and to clarify institutional differences that are not visible in harmonised Eurostat tables.

Three distinctions are essential. Country of birth is not citizenship, which matters especially for historically diverse Kazakhstan-born populations. Population stocks are not flows: first permits indicate recent admissions more directly, whereas valid permits include renewals. Finally, the legal country of employment is not always the geography of work; a driver employed by a Lithuanian company may work across the EU. The indicators are therefore treated as complementary rather than interchangeable.

The analysis also avoids treating Central Asian migration as a homogeneous labour flow. Employment is central to the recent expansion, but education, family migration, temporary work and older population stocks are included where they materially shape a destination profile. The design is descriptive-comparative: it does not claim that the eight states form one migration system but uses their proximity and institutional variation to examine P1–P3.

Historical Development and Contemporary Patterns

Central Asian presence in Northern Europe predates the recent expansion of labour migration. During the Soviet period, movement between Central Asia and the Baltic republics occurred within one state through education, military service, professional assignments and other forms of organised mobility. The dissolution of the USSR transformed part of this internal population distribution into an international migrant stock without necessarily involving a new cross-border move. The 1990s then generated additional post-Soviet mobility. These historical layers are especially important when interpreting Kazakhstan-born populations.

Kazakhstan requires caution because country of birth and contemporary citizenship are especially difficult to equate in this case. The Kazakh SSR had a highly heterogeneous population shaped by intensive Soviet-era mobility, including industrial and professional assignments, education, military service, deportations and inter-republican migration. Part of the Kazakhstan-born population subsequently recorded in the Baltic states therefore reflects historically accumulated mobility within the USSR rather than migration from independent Kazakhstan. The comparatively large Kazakhstan-born populations in Estonia, Latvia and Lithuania cannot consequently be read as evidence of an equally large contemporary migration flow from Kazakhstan.

During the 2000s and much of the 2010s, Baltic and Nordic countries remained secondary destinations for most Central Asian labour migrants. The foundations of later diversification nevertheless developed before 2022. EU integration, labour shortages, the expansion of international road transport, the internationalisation of higher education and the gradual development of recruitment infrastructures created new points of entry. Lithuania became increasingly connected to Central Asian labour through logistics; Latvia developed labour and study routes; Estonia provided temporary-employment mechanisms; and Nordic destinations accumulated different combinations of labour, study, family and other migration.

The early 2020s accelerated these processes. Valid EU employment permits held by Central Asian citizens reached nearly 79,000 by 2024 [5], with especially rapid longer-term growth among Uzbek, Kyrgyz and Tajik citizens [6]. Geopolitical and economic changes after 2022 reshaped the wider migration environment in Northern Europe [9], while increased uncertainty for Central Asian migrants in Russia after March 2024 strengthened incentives to consider alternative destinations [5]. These shifts, however, acted on routes and infrastructures that had already begun to develop.

The regional population data show how uneven the result has been. The registered Central Asian-born population in the eight destination countries increased from approximately 37,400 in 2020 to more than 62,000 in the latest observations available for the study. Because the latest comparable Danish observation is earlier than the 2025 observations used for most other countries, the aggregate should be treated as approximate [14].

Table 1. Central Asian-born population in the Baltic and Nordic countries

Destination	2020	Latest observation*	Change
Lithuania	7,723	28,338	+266.9%
Sweden	9,043	11,318	+25.2%
Latvia	10,417	8,872	−14.8%
Estonia	6,117	6,881	+12.5%
Norway	2,229	3,335	+49.6%
Finland	1,049	2,982	+184.3%

Denmark	735	818*	+11.3%*
Iceland	59	106	+79.7%

*The latest Danish observation in this harmonised series is from 2022; observations for most other countries are from 2025. Source: author's calculations from Eurostat migr_pop3ctb, extracted 17 August 2026 [14].

Three patterns stand out. First, Lithuania is exceptional: its Central Asian-born population rose from 7,723 to 28,338, making it the largest destination in the regional dataset. Second, rapid proportional growth also occurred from much smaller bases, particularly in Finland, where the population increased from 1,049 to 2,982. Norway and Iceland also grew substantially in percentage terms. Third, growth was not uniform. Latvia's stock declined while Estonia grew only moderately. If diversification were driven mainly by a general preference for northern European destinations, such sharp divergence between neighbouring countries would be difficult to explain.

Country-of-origin composition adds another layer. Kazakhstan remains important in stock statistics partly because of historical migration. Uzbekistan is more prominent in recent employment-related mobility, while Kyrgyz and Tajik citizens have expanded rapidly through labour channels. Thus, the national composition of a stock cannot be inferred from the composition of current inflows. The distinction is particularly clear in the case of Kazakhstan. Kazakhstan-born residents constitute the largest origin-country group in the regional stock, accounting for 23,154 persons, or approximately 37 per cent of the Central Asian-born population in the eight countries. Yet Kazakhstani citizens held only 3,508, or 11.1 per cent, of valid employment permits held by Central Asian citizens in 2024 [14]. Kazakhstan therefore differs from Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan not simply in scale but in the relationship between historically accumulated population stocks and contemporary labour flows. Its relatively large country-of-birth stock contrasts with its much smaller role in the recent employment-related expansion, which is driven primarily by Uzbek, Tajik and Kyrgyz citizens. Contemporary mobility from Kazakhstan also includes educational mobility, particularly through Baltic higher-education links, but it has not produced a comparably concentrated labour-migration corridor.

Employment permit data reveal an even stronger concentration. At the end of 2024, 31,539 valid residence permits for employment reasons held by Central Asian citizens were recorded across the eight countries; Lithuania accounted for 24,177, or 76.7 per cent [14]. Lithuania issued 14,288 first employment permits to Central Asian citizens in 2024 and 17,097 in 2025, while the stock of valid employment permits changed only from 24,177 to 24,434. This combination indicates substantial turnover and confirms the exceptional concentration of legal employment admission in Lithuania.

Migration Regimes in the Baltic and Nordic Countries

Lithuania represents the clearest case of alignment between sectoral demand, migration infrastructure and an admission regime capable of supporting large-scale

recruitment. Its emergence as a Central Asian destination is closely connected to international road transport. Benedetti et al. showed that Poland and Lithuania together issued more than half of new employment-related residence permits to Central Asian citizens in the EU between 2020 and 2023 and identified logistics as central to the Lithuanian case [4, pp. 388–391]. The legal employer and residence status may be Lithuanian even when drivers work across the European road network. Lithuania therefore functions not simply as a national labour market but as an organisational and legal node in a transnational sector. This is the strongest regional illustration of P2: labour demand produced a durable corridor because firms, recruiters, administrative procedures and accumulated route knowledge connected Central Asian workers to Lithuanian employers.

Latvia presents a different configuration. Employment is significant, but education is unusually visible. In 2024 Central Asian citizens in Latvia held approximately 3,247 permits related to employment, 1,046 to education and 1,033 to family reasons [14]. The Latvian system distinguishes short-term employment, which may be based on a visa carrying the right to employment, from longer-term employment requiring a residence permit [15]. The coexistence of labour, study and family routes means that Latvia cannot be interpreted simply as a smaller Lithuanian case. Universities and educational recruitment form part of the infrastructure connecting Central Asia with Latvia.

Estonia represents a third Baltic pattern. Its Central Asian-born population grew only moderately, but resident stocks do not capture all labour mobility. Estonia allows registered short-term employment, generally up to 365 days within a 455-day period for a foreign national legally staying in the country, alongside temporary residence permits for employment [16]. This can facilitate temporary circulation without a comparable increase in long-term resident stocks. Estonia thus illustrates P3 particularly clearly: institutional channels affect not only how many migrants arrive but also how migration appears in statistical indicators.

Finland is notable for rapid proportional growth from a low base. Relevant channels include residence permits for employed people, seasonal work and study. In 2026 the standard residence permit for an employed person requires employment generating at least EUR 1,600 gross per month [17]. Seasonal work operates through a separate framework [18]. International students may work within the limits of the study-permit regime and may apply for a post-study permit to seek employment [19]. Finland has not developed a single sectorally dominant Central Asian corridor comparable to Lithuania; its emerging profile is more diversified across employment and education. Uzbekistan is especially visible in newer labour flows, but the total Central Asian population should not be equated with Uzbek employment migration.

Sweden has the second-largest Central Asian-born population in the regional stock data, but its profile is historically more heterogeneous. Research on Uzbek migrants shows trajectories involving employment and other routes rather than a single recent recruitment channel [7; 8]. Swedish work-permit rules changed in 2026: the general salary requirement became 90 per cent of the national median salary, alongside requirements concerning employment conditions [20]. Rules for many bachelor's and master's students also changed in June 2026, limiting paid

work during study periods to 15 hours per week [21]. Sweden therefore combines an accumulated migrant population with contemporary employment and educational channels, cautioning against explaining stock size solely through present-day labour admission.

Norway remains a smaller Central Asian destination despite high wages. Its main work route for third-country nationals is structured around skilled-worker qualifications and a concrete job offer [22]. A separate seasonal-worker route requires a full-time offer for genuinely seasonal work or holiday replacement [23]. Economic attractiveness alone is therefore insufficient: labour demand must correspond to categories through which the admission system permits recruitment.

Denmark also relies on selective routes rather than a single skills criterion. The Positive Lists identify occupations experiencing shortages, while salary-based schemes provide separate admission channels. In 2026 the ordinary Pay Limit Scheme requires an annual salary of DKK 552,000 and the Supplementary Pay Limit Scheme DKK 446,000 [24; 25]. This configuration differs markedly from the Lithuanian logistics route and helps explain variation in the scale and occupational composition of Central Asian migration among high-income destinations.

Iceland remains the smallest destination in the comparison. Third-country employment generally requires a temporary work permit, including categories based on expert knowledge or labour shortages [26]. On 8 July 2026 responsibility for processing and issuing work permits moved from the Directorate of Labour to the Directorate of Immigration [27]. Iceland's small labour market and limited Central Asia-specific recruitment infrastructure make it a useful counterpoint to Lithuania: national size or income alone does not predict corridor formation.

Across the eight countries, P2 and P3 are visible in the interaction between infrastructure and admission rules. Repeated migration grows where employers, recruiters or educational institutions can connect demand to Central Asian origins, while national rules determine whether this occurs through temporary work, standard employment, skilled routes, salary thresholds, seasonal work or study.

Table 2. Comparative profile of Baltic and Nordic destination regimes

Destination	Main profile	Relevant channels / feature
Lithuania	Employment and logistics hub	Employment residence routes; transport-sector recruitment
Latvia	Mixed labour–education destination	Employment, study and family routes
Estonia	Smaller temporary/employment route	Short-term employment and residence-based work
Finland	Emerging diversified destination	Employment, seasonal work and study

Sweden	Heterogeneous established destination	Employment, study, family and accumulated migration
Norway	Qualification-oriented destination	Skilled work and seasonal work
Denmark	Occupational/salary-based selection	Positive Lists and Pay Limit schemes
Iceland	Very small destination	Temporary work permits; small labour market

Discussion

The comparison supports P1. Baltic and Nordic routes did not suddenly appear after 2022 and have not displaced established destinations. Their foundations developed earlier through transport, employment, education and accumulated connections; the early 2020s accelerated an existing process. System expansion and diversification therefore describe the pattern more accurately than geographical substitution.

P2 accounts for the strongest contrast. Lithuania's rise reflects not only EU attractiveness but the alignment of transport-sector demand with firms, recruiters, administrative channels and route knowledge capable of organising migration repeatedly. Latvia exhibits a different infrastructure in which education complements employment, while Finland's route is more dispersed and several Nordic states have weaker Central Asia-specific recruitment connections. Infrastructure thus provides the mechanism linking structural demand to observed corridor formation.

P3 explains why diversification produces different forms as well as different volumes. Estonia's short-term route, Norway's skilled-worker requirements, Denmark's salary and shortage-occupation schemes, Finland's employment, seasonal and study channels, and Sweden's work and student rules create distinct opportunity structures [16–25]. These regimes filter labour and educational demand rather than mechanically determining flows.

The Baltic–Nordic comparison consequently reveals two dimensions of destination diversification. Geographically, migrants from Central Asia reach a wider range of countries. Institutionally, destinations incorporate mobility through different combinations of sectors and legal channels. A Kyrgyz or Uzbek truck driver recruited by a Lithuanian company, a Central Asian student entering Latvia or Finland, and a skilled professional admitted to Norway are all part of diversification, but they participate in different migration arrangements. This distinction also clarifies why historically accumulated stocks and contemporary flows must be kept analytically separate.

The analysis has limitations. Harmonised datasets do not capture all temporary work, national statistics differ in timing and definitions, and country-of-birth and citizenship data measure different populations. Transnational road transport further complicates the geography of work, while rapidly changing

migration law makes regime comparisons time specific. These constraints reinforce the methodological point that no single indicator can represent Central Asian migration to the region and that institutional comparisons require precise dating.

Conclusion

Central Asian migration to the Baltic and Nordic countries has become increasingly visible, but its development is highly uneven. Lithuania has undergone the sharpest transformation and now functions as the principal employment and logistics hub. Latvia combines labour and educational migration; Estonia has a smaller profile in which temporary employment is institutionally important; Finland has grown rapidly from a low base; Sweden has a larger and more heterogeneous Central Asian population; and Norway, Denmark and Iceland remain smaller destinations.

The findings support three connected propositions. The emerging geography is an expansion of an evolving migration system rather than a replacement of established destinations (P1). Routes grow when labour or educational demand is linked to infrastructure capable of organising repeated mobility (P2), while destination regimes shape which opportunities become legal admission channels and, consequently, the composition of migration (P3). These mechanisms explain why neighbouring and economically attractive states have developed markedly different Central Asian migration profiles.

The post-2022 period is therefore best understood as an acceleration of a longer diversification process. Conditions in origin countries and established destinations can widen the search for alternatives, but destination-side demand, infrastructure and admission systems determine which alternatives consolidate. The Baltic and Nordic countries remain secondary in the global geography of Central Asian migration, yet their divergent trajectories provide a valuable setting for analysing how new routes emerge and become institutionalised.

Future research should follow these routes longitudinally, distinguish systematically between origin countries and admission channels, and examine whether present concentration around particular nodes persists or produces further diffusion across Europe.

References

1. Abashin S. Central Asian Migration: Practices, Local Communities, Transnationalism. *Russian Politics & Law*. 2013. Vol. 51, no. 3. P. 6–20.
2. Urinboyev R. Migration and Hybrid Political Regimes: Navigating the Legal Landscape in Russia. Oakland: University of California Press, 2021.
3. Dadabaev T., Sonoda S., Nourzhanov K., eds. *Bridges Across Borders: Dynamics of Central Eurasian Migration to Australia, Japan, and Northern Europe*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2026. DOI: 10.1007/978-981-95-4867-5.
4. Benedetti G., Sauka A., Pavlova M., Zvonareva O., Groot W. Pioneering New Migration Routes: Central Asian Truck Drivers' Experiences in the EU. *Central Asian Survey*. 2026. Vol. 45, no. 3. P. 385–403. DOI: 10.1080/02634937.2025.2479099.

5. Kholmatova N., Abdulloeva N. Central Asian Migrants Look Beyond Russia, Yet New Destinations Carry Challenges Too. Migration Information Source. 7 May 2026. <https://www.migrationpolicy.org/journal/feature/central-asian-migrants-look-beyond-russia-yet-new-destinations-carry-challenges-too> (accessed 17 September 2026).
6. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Migration Outlook 2026: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: ICMPD, 2026. <https://www.icmpd.org/publications> (accessed 17 September 2026).
7. Eraliev S. The Shadow Side of Migration: Exploring the Nexus between Undocumentedness, Informality and Crime among Uzbek Migrants in Sweden. *Nordic Journal of Criminology*. 2023. Vol. 24, no. 2. P. 1–16. DOI: 10.18261/njc.24.2.5.
8. Eraliev S., Urinboyev R. Subversive Mobilities and Vernacular Legal Navigation: Uzbek Migrants in Nordic Migration Regimes. *Social & Legal Studies*. 2026. OnlineFirst. P. 1–23. DOI: 10.1177/09646639261426441.
9. Kangaspuro L. Russian Migration in Finland amid New Geopolitical Fault Lines. *Australian & New Zealand Journal of European Studies*. 2025. Vol. 17, no. 2. P. 79–103. DOI: 10.30722/anzjes.vol17.iss2.21035.
10. Mabogunje A. L. Systems Approach to a Theory of Rural-Urban Migration. *Geographical Analysis*. 1970. Vol. 2, no. 1. P. 1–18.
11. Bakewell O. Relaunching Migration Systems. *Migration Studies*. 2014. Vol. 2, no. 3. P. 300–318. DOI: 10.1093/migration/mnt023.
12. Xiang B., Lindquist J. Migration Infrastructure. *International Migration Review*. 2014. Vol. 48, Suppl. 1. P. S122–S148. DOI: 10.1111/imre.12141.
13. Horvath K., Amelina A., Peters K. Re-thinking the Politics of Migration: On the Uses and Challenges of Regime Perspectives for Migration Research. *Migration Studies*. 2017. Vol. 5, no. 3. P. 301–314. DOI: 10.1093/migration/mnx055.
14. Eurostat. Population on 1 January by age group, sex and country of birth (migr_pop3ctb); All valid permits by reason, length of validity and citizenship (migr_resvalid); First permits by reason and citizenship (migr_resfirst). Data was extracted on 17 August 2026.
15. Office of Citizenship and Migration Affairs of Latvia (PMLP). Employment of Foreigners. Riga, 2026. <https://www.pmlp.gov.lv/en/employment-foreigners> (accessed 17 September 2026).
16. European Commission. EU Immigration Portal: Employed Worker in Estonia. Brussels, 2026. https://immigration-portal.ec.europa.eu/estonia-employed-worker_en (accessed 17 September 2026).
17. Finnish Immigration Service (Migri). Residence Permit for an Employed Person. Helsinki, 2026. <https://migri.fi/residence-permit-for-an-employed-person> (accessed 17 September 2026).
18. Finnish Immigration Service (Migri). Seasonal Work. Helsinki, 2026. <https://migri.fi/en/seasonal-work> (accessed 17 September 2026).
19. Finnish Immigration Service (Migri). Studying in Finland. Helsinki, 2026. <https://migri.fi/en/study-in-finland> (accessed 17 September 2026).

20. Swedish Migration Agency. Salary Requirements for a Work Permit. Norrköping, 2026. <https://www.migrationsverket.se/en/word-explanations/salary-requirements-for-a-work-permit.html> (accessed 17 September 2026).
21. Swedish Migration Agency. Apply for a Residence Permit for Studies at Higher Education. Norrköping, 2026. <https://www.migrationsverket.se/en/you-want-to-apply/study/higher-education.html> (accessed 17 September 2026).
22. Norwegian Directorate of Immigration (UDI). Skilled Workers. Oslo, 2026. <https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/skilled-workers/> (accessed 17 September 2026).
23. Norwegian Directorate of Immigration (UDI). Seasonal Workers. Oslo, 2026. <https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/seasonal-workers/> (accessed 17 September 2026).
24. Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI). The Positive Lists. Copenhagen, 2026. https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work/The_Positive_Lists (accessed 17 September 2026).
25. Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI). Pay Limit Scheme and Supplementary Pay Limit Scheme. Copenhagen, 2026. <https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work/Pay-limit-scheme> (accessed 17 September 2026).
26. Directorate of Immigration, Iceland. Apply for a Work Permit. Reykjavík, 2026. <https://island.is/en/apply-for-a-work-permit> (accessed 17 September 2026).
27. Directorate of Immigration, Iceland. New Residence and Work Permit Rules Take Effect. Reykjavík, 8 July 2026. <https://island.is/en/o/directorate-of-immigration/news/new-residence-and-work-permit-rules-take-effect> (accessed 17 September 2026).

Влияние информации в социальных сетях и СМИ на межэтнические отношения: на примере города Тараз и Жамбылской области*

Мамедова Парида Иманжановна

Аннотация В статье рассматривается влияние социальных сетей, интернет-ресурсов и средств массовой информации на состояние межэтнических отношений в городе Тараз и Жамбылской области. Эмпирическую основу исследования составили материалы фокус-групповой дискуссии, проведенной в городе Таразе 6 мая 2026 года в рамках мониторинга межэтнической ситуации в южных регионах Казахстана. В дискуссии приняли участие представители различных этнических групп, проживающих в регионе и различающиеся по возрасту, профессиональному и социальному статусу.

Результаты исследования показывают, что социальные сети становятся одним из основных источников информации о межэтнических процессах. При этом участники ФГД фиксируют существенное различие между непосредственным опытом повседневного межэтнического взаимодействия и образом межэтнических отношений, формируемым в цифровой среде. Наиболее значимыми информационными рисками названы распространение непроверенной информации, сенсационность, эмоциональная подача материалов, агрессивные комментарии и этнизация бытовых конфликтов. Установлено, что первоначально неэтнический конфликт в процессе обсуждения в социальных сетях может приобретать этническую окраску, вследствие акцентирования происхождения участников и противопоставления категорий «свои» и «чужие».

Особое внимание уделяется роли пользовательских комментариев как самостоятельного механизма распространения языка вражды и формирования негативных стереотипов. Делается вывод о необходимости перехода от преимущественно реактивного противодействия конфликтному контенту к комплексной профилактической модели, объединяющей правовые, информационно-просветительские, педагогические и психологические меры.

Ключевые слова: межэтнические отношения, социальные сети, СМИ, город Тараз, язык вражды, информационная среда, этнизация конфликтов, фокус-групповая дискуссия, общественное согласие.

Цифровизация и информационная среда межэтнических отношений

Цифровизация общественной жизни существенно изменила механизмы формирования общественного мнения. Современные социальные сети перестали быть исключительно пространством межличностного общения и стали одним из ключевых источников информации о политических, социальных и культурных процессах. Пользователь цифровой платформы сегодня одновременно может выступать потребителем, интерпретатором и

* Исследование проведено в рамках финансирования Комитета науки МНВО РК – грант ИРН АР23489872 «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.).

распространителем информации. Согласно данным Бюро национальной статистики за 2024 год, среди пользователей Интернета в Казахстане 65,82% использовали Интернет для участия в социальных сетях, 69,56% — для размещения информации или мгновенного обмена сообщениями, а 33,68% — для доступа к чатам, блогам, новостям и онлайн-дискуссиям. Кроме того, 48,05% пользователей использовали Интернет для просмотра видео, прослушивания музыки, игр и другого мультимедийного контента. Таким образом, цифровая коммуникация является не периферийным, а массовым компонентом информационного поведения населения.

Особого внимания заслуживает показатель участия в социальных сетях. Его высокий уровень означает, что значительная часть населения получает информацию и взаимодействует с другими пользователями в среде, где граница между производителем и потребителем информации становится условной. Пользователь может одновременно читать сообщение, комментировать его, создавать собственный контент и распространять исходную публикацию среди своей аудитории.

В отношении межэтнических отношений это формирует принципиально новую ситуацию. Локальное событие, первоначально не имеющее этнического характера, в процессе обсуждения в социальных сетях может получить этническую интерпретацию. Повторение определенных формулировок, эмоциональные комментарии, визуальный контент и распространение информации в закрытых группах способны изменить восприятие первоначального события и придать ему более широкий общественный резонанс.

В этой связи социальные сети целесообразно рассматривать не как непосредственную причину межэтнических конфликтов, а как механизм ускорения, масштабирования и трансформации социальной напряженности. Потенциальная конфликтогенность цифровой среды возникает прежде всего при сочетании существующей социальной проблемы, эмоциональной интерпретации события и высокой скорости распространения информации.

Интересные результаты дает сопоставление общереспубликанских показателей с данными по Жамбылской области (Таблица 1). В регионе 56,81% пользователей Интернета использовали его для участия в социальных сетях, 51,71% — для размещения информации или мгновенного обмена сообщениями, а 20,95% — для доступа к чатам, блогам, новостям и онлайн-дискуссиям. Для сравнения, соответствующие показатели по Казахстану составили 65,82%, 69,56% и 33,68%. [1]

Таблица 1



Следовательно, интенсивность отдельных цифровых практик в Жамбылской области ниже среднереспубликанской (Таблица 2). Однако сам факт того, что более половины интернет-пользователей региона используют социальные сети, а более половины – сервисы мгновенного обмена сообщениями, свидетельствует о наличии значительного цифрового пространства для общественной коммуникации.

При этом особенно важно не интерпретировать более низкие региональные показатели как автоматически означающие меньший уровень конфликтогенности. Статистические данные отражают масштаб и характер использования Интернета, но не содержание коммуникации.

Таблица 2



Данная трансформация приобретает особую значимость в сфере межнациональных отношений. Этническая идентичность относится к числу наиболее чувствительных форм социальной идентичности, вследствие чего информация, связанная с происхождением, языком, культурой или национальной принадлежностью, способна вызывать повышенную эмоциональную реакцию. В цифровом пространстве подобные процессы дополнительно усиливаются высокой скоростью распространения сообщений, алгоритмическим продвижением эмоционального контента и возможностью массового участия пользователей в обсуждении событий.

В научной литературе неоднократно отмечалось, что медиа не только отражают социальную реальность, но и участвуют в ее конструировании [2 - 4]. В условиях цифровых коммуникаций данная функция усиливается. Отдельное локальное событие может за короткое время стать предметом широкого обсуждения, а его первоначальный смысл может существенно измениться в процессе распространения и комментирования.

Для полиэтнических обществ информационная среда имеет особое значение. Медиа и цифровые технологии способны создавать пространство для диалога, взаимного знакомства и укрепления социальной интеграции. Вместе с тем они могут способствовать распространению дезинформации, языка вражды, дискриминационных установок и конфликтных интерпретаций [5].

Жамбылская область и город Тараз представляют особый интерес для исследования данной проблематики вследствие ее этнокультурного

многообразия и наличия устойчивых форм повседневного взаимодействия представителей различных этнических групп. Анализ отношения населения региона к информации о межэтнических процессах позволяет выявить не только существующие риски, но и механизмы их восприятия.

Цель исследования заключается в выявлении влияния информации, распространяемой через социальные сети и средства массовой информации на восприятие и состояние межэтнических отношений в городе Тараз и Жамбылской области.

Методология исследования

Методологически исследование основано на качественном подходе. Целью ФГД являлось не получение статистически репрезентативных данных, а выявление распространенных социальных представлений, оценок и механизмов восприятия информационного воздействия. Поэтому полученные результаты характеризуют позиции участников дискуссии и позволяют определить значимые тенденции, требующие дальнейшей количественной проверки.

Эмпирическую основу исследования составили материалы фокус-групповой дискуссии, проведенной в городе Тараз 6 мая 2026 года в рамках проекта «Мониторинг межэтнической ситуации в южных областях Казахстана».

В состав фокус-группы вошли десять участников различного возраста и профессионального статуса: предприниматели, педагог, водитель такси, домохозяйка, самозанятый работник, религиозный деятель, пенсионер, рабочий и молодой сотрудник местного исполнительного органа. В обсуждении были представлены казахская, русская, узбекская, дунганская, турецкая, таджикская и кыргызская этнические группы.

В рамках ФГД обсуждались основные источники информации о межэтнических отношениях, уровень доверия к СМИ и социальным сетям, способы распознавания фейковой информации, распространение языка вражды, влияние комментариев пользователей, наличие конфликтов в непосредственном социальном окружении, роль языка и внешнеполитических событий в формировании напряженности, а также возможные меры профилактики негативного информационного воздействия.

Социальные сети в структуре информационного потребления

Одним из основных результатов ФГД является высокая значимость цифровых источников информации. Большинство участников сообщили, что получают новости преимущественно через социальные сети, Telegram-каналы, Instagram, TikTok, YouTube и интернет-ресурсы.

Высокая роль социальных сетей подтверждается непосредственными высказываниями участников. Одна из участниц отметила: *«Я обычно смотрю новости в социальной сети. Чаще Instagram, Telegram. Но на кухне всегда включен телевизор, поэтому национальные каналы тоже важны»* (русская, 29 лет, учитель русского языка и литературы, г. Тараз). Другой участник

указал: *«Только по телефону. Telegram-канал и в основном Tengrinews, NUR.KZ. Еще подписан на какой-то кыргызский канал. Тоже новости такие сенсационные бывают. Вот этнические нечасто. Но в основном в TikTok про конфликты какие-то слышу»* (дунганин, 31 год, самозанятый в сфере логистики, с. Жалпактобе, Жамбылский район).

Приведенные высказывания демонстрируют переход к сетевой модели информационного потребления. При этом именно конфликтные события получают повышенную видимость, поскольку эмоциональный и сенсационный контент обладает более высоким потенциалом распространения.

Традиционные СМИ при этом не исчезают из структуры информационного потребления, однако выполняют преимущественно дополнительную функцию. Телевидение и радио чаще используются старшими участниками, а также присутствуют как фоновый источник информации в домашнем или рабочем пространстве.

Таким образом, наблюдается переход от преимущественно вертикальной модели информационного воздействия к сетевой. Если в традиционной системе информация проходила через профессиональные редакционные процедуры, то в цифровой среде событие может первоначально быть опубликовано очевидцем или обычным пользователем, затем распространиться через блогеров и локальные сообщества и только после этого стать объектом внимания профессиональных СМИ. Данный процесс повышает скорость информационного обмена, однако одновременно увеличивает риск распространения неполной или недостоверной информации.

В ходе ФГД выявлена определенная иерархия доверия к различным источникам информации. Крупные новостные ресурсы и официальные СМИ в целом воспринимаются участниками как более надежные источники вследствие предполагаемого наличия редакционной проверки.

Вместе с тем участники выражали значительно большее недоверие к отдельным блогерам, сенсационным страницам и пользователям социальных сетей, обладающим большой аудиторией: *«А вот местные или Kyn.kz, а также блогеры – вот это треш. Они гонятся за сенсацией и сиюминутным заработыванием и “уау-эффектом”»* (казах, 33 года, предприниматель, г. Тараз). Особую проблему представляет тот факт, что современный пользователь с большим количеством подписчиков способен оказывать значительное влияние на формирование общественного мнения, не обладая при этом профессиональной ответственностью традиционного медиа.

Участники также подчеркивали, что фейковая информация опасна не только своей недостоверностью: *«Переполняют комментариями. Жуть какой негатив. Я стараюсь жену от этого уберечь. «Промываю ей мозги» каждый день, иначе не только она, но и вся семья подсаживается на сенсацию... Как только попадаем в зависимость от фейков – мы разрознены и нас просто легко завоют. Без пушек и выстрелов. Словом, в сетях»* (русский, 49 лет, механик ТМЗ, с. Аса, Жамбылский район). Фейки способны формировать эмоциональное состояние тревоги, подозрительности и ожидания конфликта.

В этом отношении особую роль играют сенсационные сообщения, которые получают повышенное распространение благодаря эмоциональной реакции пользователей.

Следовательно, медиаграмотность в сфере межэтнических отношений должна рассматриваться не только как способность отличать достоверную информацию от недостоверной. Она включает ответственность за распространение сообщений, понимание последствий репостов и комментариев, а также способность распознавать попытки искусственной этнизации социальных конфликтов.

Наиболее значимым результатом исследования является выявление особой роли комментариев пользователей в формировании межэтнической напряженности. Участники неоднократно отмечали, что первоначальная новость может не содержать межэтнического содержания. Показателен пример, приведенный жителем села Жалпактобе: *«Вот к примеру разбил окно квартиры мальчик играя во дворе. Виноват, родители готовы восстановить окно. Но комментаторы раздувают из этого. Первый пишет: “А он русский, его агрессивно воспитывают. Наши казахи так бы не позволили сделать.” Второй подхватывает...»* (дунганин, 31 год, самозанятый в сфере логистики, с. Жалпактобе Жамбылский район). Однако в процессе обсуждения пользователи начинают самостоятельно акцентировать этническую принадлежность участников события. Подобный механизм можно определить как этнизацию конфликта – процесс, при котором бытовой, индивидуальный, социально-экономический или иной конфликт начинают интерпретироваться через этническую принадлежность его участников.

На основании мнений респондентов нами была выделена следующая последовательность развития цифровой конфликтности: локальное событие → эмоциональная публикация → массовое комментирование → акцентирование этнической принадлежности → формирование стереотипов → противопоставление этнических групп.

Особенность данного процесса заключается в том, что на первоначальном этапе конфликт может вообще не иметь этнической природы. Отдельные участники отмечали, что в обычной жизни человек может не проявлять открытой агрессии, однако в социальных сетях использовать нецензурную лексику, призывы к конфликту и высказывания, основанные на представлениях об этническом превосходстве. Жительница Тараза привела характерный пример: *«Ну сеть сейчас богата конфликтообразующими суждениями. Иногда даже без повода сами провоцируют враждебность ради хайпа»* (русская, 29 лет, учитель русского языка и литературы, г. Тараз).

В международных рекомендациях в сфере защиты прав национальных меньшинств также подчеркивается необходимость противодействия языку вражды, дезинформации и подстрекательской риторике в цифровой среде. Особое значение придается созданию условий для инклюзивной и плюралистической общественной дискуссии [6].

Цифровой образ и повседневный опыт межэтнических отношений

Особого внимания заслуживает выявленное в ходе ФГД расхождение между непосредственным опытом участников и восприятием межэтнической ситуации через социальные сети.

Большинство участников не сообщало о систематических межэтнических конфликтах в собственном районе, на улице или в ближайшем социальном окружении. Напротив, приводились примеры совместной работы, соседских отношений, межэтнических браков и повседневного взаимодействия. Вместе с тем практически все участники признавали наличие в цифровом пространстве значительного количества агрессивных комментариев, этнических обобщений и негативных высказываний. Показательно свидетельство другого жителя Тараза: *«Вообще не помню конфликтов именно в нашем районе... Один раз с кандасами как-то сосед словами не поделил что-то. Но я не понял почему он его узбеком называл? Он же казах... и с узбеками у нас все нормально. Работаю с ними. Одна сестра замужем за узбеком. Все норм»* (казах, 33 года, предприниматель, г. Тараз)

Конфликтогенные темы: язык и международная повестка

Цифровое пространство не только отражает межэтническую ситуацию, но и формирует ее общественный образ. Социальные сети создают эффект повышенной видимости конфликтных событий. Эмоциональные публикации, агрессивные комментарии и резонансные случаи получают значительно больше внимания, чем обычные практики мирного повседневного взаимодействия. В результате отдельный конфликт может восприниматься аудиторией как проявление массовой тенденции. Это создает риск формирования представления о высокой межэтнической напряженности даже в условиях достаточно стабильного непосредственного взаимодействия.

В ходе ФГД участники выделили несколько тем, обладающих повышенной конфликтогенностью. К ним относятся языковой вопрос и обсуждение международных конфликтов. По мнению участников, именно данные темы способны активизировать накопленные предубеждения и создавать волну взаимных обвинений. Особую опасность представляют попытки переноса внешнеполитических конфликтов в казахстанское информационное пространство. Как отметила жительница Тараза: *«Я вообще советовала бы не будоражить тему языка и “не нашей войны.” Эти две горячие темы просто захлестывают волну ненависти и предубеждений»* (русская, 29 лет, учитель русского языка и литературы, г. Тараз).

Направления профилактики негативного информационного воздействия

Показательно, что информационная конфликтность не всегда происходит между представителями разных этнических групп. Информационная поляризация может разделять общество также по языковому, культурному, социальному и ценностному признаку. Одновременно ФГД показывает, что государственный язык в повседневной

жизни региона может выступать фактором интеграции. Об этом, в частности, говорила жительница Тараза: *«Мы - таджики, узбеки неплохо владеем казахским и у нас много межнациональных браков, к которым мы относимся не просто хорошо, а как к нормальной части нашей казахстанской культуры»* (таджичка, 68 лет, пенсионерка, с. Нурлыкент, Жуалынский район). Турок, 65 лет, имам из с. Кызыл жулдыз Байзакского района также отметил, что использование государственного языка в мечетях облегчает понимание проповедей, а тем, кто пока недостаточно хорошо знает казахский язык, он дает индивидуальные разъяснения.

Следовательно, конфликтогенным является не сам язык как элемент идентичности, а его использование в качестве инструмента противопоставления и дискриминации.

Этнизация конфликтов и роль пользовательских комментариев

Материалы ФГД позволяют выделить несколько направлений профилактики негативного информационного воздействия:

Первое направление связано с развитием медиаграмотности. Участники поддерживали необходимость обучения молодежи и взрослых навыкам проверки информации и ответственного поведения в социальных сетях: *«Полностью согласна, что подальше молодежь нужно от этой ложной непроверенной информации держать... И учить этой грамотности в школах»* (таджичка, 68 лет, пенсионерка, с. Нурлыкент, Жуалынский район).

Второе направление – совершенствование правового реагирования. В Казахстане публичные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной розни, в том числе совершаемые с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, относятся к сфере уголовно-правового регулирования [7].

Однако результаты ФГД показывают, что часть участников не считает исключительно штрафные или запретительные меры достаточными. В ходе обсуждения подчеркивалась необходимость педагогической и психологической работы с агрессивным цифровым поведением: *«Бороться разумеется надо, но не соглашусь, что штрафы решают проблему. Воспитать копеечкой еще никому не удавалось... Поэтому только воспитание и меры педагогического воздействия, с учетом больших возможностей современных психологических технологий»* (русская, 29 лет, учитель русского языка и литературы, г. Тараз).

Третьим направлением является повышение качества позитивной информационной работы. Участники указывали, что традиционные и формализованные мероприятия по укреплению общественного согласия не всегда способны привлечь внимание молодежи. Необходимы реальные примеры, современная визуальная подача и более креативные цифровые форматы: *«Надо интересней писать в соцсетях о том, что укреплять межэтнические взаимоотношения важно... Живые примеры. Вот что важно... Нужны креативные идеи для распространения правильной политики*

взаимоотношений. Так, чтоб хотелось быть высококультурным» (казах, 23 года, внештатный сотрудник акимата г. Тараз).

На основе проведенного исследования представляется целесообразным развивать системную медиаграмотность населения; проводить мониторинг не только публикаций, но и комментариев; обеспечивать оперативное информирование населения в случае резонансных событий; формировать современные цифровые проекты, направленные на укрепление культуры межэтнического общения; использовать реальные примеры позитивного соседства и совместной деятельности; сочетать правовые механизмы с профилактической и разъяснительной работой.

Заключение

Проведенное качественное исследование показывает, что социальные сети и цифровые СМИ оказывают значительное влияние на восприятие межэтнических отношений населением города Тараз.

Основным результатом является выявление противоречия между непосредственным опытом повседневного взаимодействия и цифровым образом межэтнических отношений. Значительная часть участников ФГД не фиксирует систематических межэтнических конфликтов в своем непосредственном окружении, однако одновременно наблюдает высокий уровень агрессивной и этнически окрашенной риторики в социальных сетях.

Наиболее значимым механизмом негативного воздействия выступает этнизация первоначально неэтнических конфликтов. Бытовое событие или индивидуальная ссора могут приобретать этническую окраску в процессе массового комментирования. Следовательно, мониторинг межэтнической ситуации не должен ограничиваться анализом количества конфликтных публикаций. Необходимо сопоставлять цифровую картину с реальным состоянием межэтнического взаимодействия на локальном уровне.

Профилактика межэтнической конфликтности требует дифференцированного подхода. Возраст необходимо рассматривать вместе с цифровыми привычками, семейной средой, образованием, языковой компетентностью, социально-экономическим положением и территориальным контекстом. Материалы ФГД показывают, что непосредственное повседневное взаимодействие во многих случаях воспринимается как стабильное, тогда как цифровая среда может создавать более конфликтный образ отношений. Поэтому приоритетами являются предотвращение этнизации локальных конфликтов, развитие цифровой и межкультурной грамотности, поддержка позитивных практик совместной деятельности и оперативная коммуникация.

В современных условиях обеспечение общественного согласия требует перехода от преимущественно реактивной модели реагирования на конфликтный контент к профилактической модели. Такая модель должна объединять правовое противодействие языку вражды, повышение медиаграмотности, оперативную коммуникацию государственных

институтов, психологическую профилактику цифровой агрессии и использование современных информационных форматов.

Таким образом, устойчивость межэтнических отношений в полиэтнических регионах Казахстана зависит не только от непосредственного взаимодействия представителей различных этнических групп, но и от качества информационной среды, в которой формируются представления граждан друг о друге. Цифровое пространство становится самостоятельной сферой профилактики межэтнических рисков и требует постоянного научного мониторинга.

Список использованных источников:

1. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Электронные таблицы. *QAZSTAT*. – [https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-it/spreadsheets/?year=2025 &name =19318&period=year&type=spreadsheets](https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-it/spreadsheets/?year=2025&name=19318&period=year&type=spreadsheets)
2. Castells M. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
3. Couldry N., Hepp A. *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge: Polity Press, 2017.
4. Entman R.M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm // *Journal of Communication*. 1993. Vol. 43. No. 4. P. 51–58.
5. *The Tallinn Guidelines on National Minorities and the Media in the Digital Age*. OSCE High Commissioner on National Minorities. The Hague, 2019.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. Статья 174.
7. Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года № 451-І.

National Integration under the Shadow of War: Explaining Estonia's "Dead Circle" of Mutual Fears

Raivo Vetik

Abstract

Russia's war against Ukraine has transformed the security environment in which national integration unfolds in Estonia. Drawing on a recent survey, this article identifies a "dead circle" of mutual fears: ethnic Estonians' legitimate anxiety about Russia migrates towards distrust of Estonian Russians, who experience this securitisation as rejection and conditional belonging. This relational configuration constrains the potential integration as indicated by some Estonian Russians' reported distancing from Russian state policies and stronger attachment to Estonia. The article asks what explaining this configuration requires analytically and epistemologically by contrasting variable-based, critical-interpretivist, and Meta-Viewpoint Model (MVM) explanations. Variable-based analysis identifies individual-level correlates and mechanisms but risks taking majority-defined outcomes as neutral. Critical interpretation reveals domination and assimilation pressure but tends to reproduce the minority frame as the privileged standpoint. The MVM instead treats the interethnic field's asymmetric relational form as the explanandum, models the two actor-level position-bound frames in tandem, and grounds explanation in negative proceduralism. The article develops a tandem principle for national integration policy: Estonia's legitimate language, cultural, and security interests should be advanced together with minority recognition and equal belonging, while minority claims should be articulated together with recognition of Estonia's historical vulnerability and security needs. National integration, on this account, is neither unilateral convergence nor the negation of ethnic and cultural difference, but the fair coordination of unity and plurality in an asymmetric field.

1. Introduction

What happens to national integration when an external security threat becomes an organising force within the domestic interethnic field? This question has acquired particular urgency in Estonia since Russia's full-scale invasion of Ukraine. The war has not merely added a new contextual variable to the process of national integration, but altered the field in which the Estonian majority and the Russian-speaking minority interpret one another, evaluate belonging, and define the terms of political unity. This article draws on a research project examining Estonia's interethnic field under the impact of Russia's war against Ukraine. Its empirical basis is a survey of 1,000 respondents conducted by Turu-uuringute AS in February and March 2026 (Turu-uuringute AS, 2026). The findings reveal a configuration that I call a "dead circle" of mutual fears. On the majority side, justified fear of Russian aggression spills over into distrust of Estonian Russians. On the minority side, this distrust is experienced as collective suspicion and as evidence that loyalty to Estonia

does not secure full membership in the national community. These responses are not equivalent in their structural sources or consequences, but they become mutually reinforcing manifestations of the same asymmetric field.

The central research problem of the article is therefore not only substantive - why does an apparent opening for integration fail to produce greater intergroup proximity? - but also meta-theoretical. What must count as the explanandum when different positions inhabit partially incommensurable meaning-worlds? How can a researcher explain these worlds without treating the majority's categories as neutral or, in correcting for this asymmetry, elevating the minority's interpretation into an exhaustive account of the field? And what responsibilities follow when research is expected to inform policies of integration under conditions of war and heightened insecurity?

The article advances two related arguments. First, the dead circle cannot be adequately explained as a sum of individual attitudes. It is a relational configuration in which majority fear, minority non-recognition, policy signals, and the external security environment acquire their effects through their connection to one another. Second, the construction of this relational explanandum requires a meta-viewpoint: a procedurally constrained research frame that represents the opposed actor frames in tandem while refusing to make either the default standard of equivalence. This is the task of the Meta-Viewpoint Model (MVM) (Vetik, 2026). The discussion proceeds in four stages. Section 2 situates the argument in relation to a liberal integration model, critical approaches, and relational analyses of national integration. Section 3 introduces the data and reconstructs the four empirical moments that compose the dead circle. Section 4 compares three explanations of the same evidence and develops the MVM account, including negative proceduralism and the tandem principle. The conclusion identifies the theoretical and policy implications and specifies the limits of the present evidence.

2. Theoretical background

2.1 Liberal and critical models

For the past three decades, integration research in Estonia - and in post-Soviet states more generally - has often been organised around a liberal model centred on individual-level outcomes: language acquisition, civic participation, socioeconomic mobility, and identificational attachment. In the Estonian context, successive state programmes have largely treated competence in Estonian and participation in common institutions as central indicators of integration (Integrating Estonia 2000-2007). In comparative scholarship, multidimensional frameworks distinguish structural, cultural, social, and identificational domains, but usually retain the individual member of the minority population as the principal unit of analysis (Esser, 2004; Heckmann & Schnapper, 2003). Success is then assessed as movement towards institutionally established standards, while non-convergence becomes the outcome to be explained and addressed. This approach provides systematic indicators and makes it possible to identify unequal outcomes and their individual-level correlates. Yet, the approach risks to remain politically biased: if the receiving society's norms define both the content and the metric of integration,

majority members are tacitly exempted from the process being measured. The approach tends to convert a historically and institutionally constituted relationship into a one-sided question about minority adjustment.

Critical approaches reverse the direction of inquiry. Rather than asking why migrants or minorities fail to integrate, they ask how the category of integration produces populations as deficient, governable, or suspect (Favell et.al, 2011, Smith, 2002). Schinkel (2018), for example, argues that the social science of immigrant integration contributes to the problematisation of migrant others, while critical work on Estonia has shown how citizenship, language, and security policies can operate as demands for cultural normalisation (Feldman, 2005). This critique identifies the power embedded in apparently descriptive categories and makes the majority's "dispensation from integration" analytically visible. However, the critical model as well can be politically biased: in exposing the dominant frame, it tends to treat the subordinate standpoint as epistemically sufficient. Highlighting the minority experience of assimilation pressure is indispensable, but it does not by itself explain the majority's historically grounded concerns about state continuity, language reproduction, or geopolitical security in relation to Russia. A relational account must therefore preserve the critical insight into structural asymmetry without reducing the entire field to a single viewpoint. Recent attempts to reframe integration as a multidirectional process point in this direction (Spencer & Charsley, 2021).

2.2 Variable-based explanation

Variable-based explanation asks which factors account for variation in an integration outcome and, in its stronger mechanism-based form, how the relevant entities and activities produce that outcome. Analytical sociology distinguishes mechanisms linking social contexts to actors, actors' beliefs and desires to action, and interdependent actions to aggregate outcomes (Hedström & Ylikoski, 2010). Applied to integration, this approach can examine how language competence, citizenship, media use, socioeconomic position, perceived threat, intergroup contact, or institutional trust affect identification and policy attitudes. The strength of this strategy lies in disciplined causal analysis. It can distinguish compositional change from contextual effects, identify heterogeneous responses within both ethnolinguistic groups, and test whether apparent group differences persist after relevant covariates are taken into account. It is particularly valuable when the field's normative and relational structure is already known and the explanatory question concerns individual variation around a relatively stable or newly established norm.

However, its limitation appears when the categories entering the model are themselves position-bound. "Loyalty", "security", "belonging", and "integration" do not necessarily refer to the same object from majority and minority positions. A common questionnaire item may therefore create numerical commensurability while concealing conceptual non-equivalence. More fundamentally, a model can estimate how perceived threat predicts distrust without representing how the majority's definition of threat and the minority's experience of suspicion are constituted within one asymmetric relationship. The problem is not that variable-based analysis is intrinsically individualist or incapable of modelling interaction. Rather, its

explanatory relevance depends on how the explanandum has been constructed. If the field structure is treated as a fixed context, mechanisms can explain variation within it. If the structure of the frontier - who defines legitimate belonging, whose fear is authoritative, and whose loyalty must be demonstrated - is itself at issue, that structure must first become an explicit object of analysis.

2.3 Critical-interpretivist explanation

Interpretivist explanation reconstructs how actors make situations intelligible through historically available categories, narratives, and symbolic boundaries. It does not treat meaning as an intervening variable added to an otherwise objective causal model. Meaning is constitutive of action: people respond not to security or exclusion in the abstract, but to situations already interpreted as danger, loyalty, or recognition. A critical-interpretivist account of Estonia highlights the unequal power to institutionalise such interpretations. The state-defining majority can translate its historical narrative, language norms, and security classifications into law and policy-making. Estonian Russians can resist or reinterpret these classifications, but they cannot institutionalise their frame to the same degree. From this perspective, the categorisation of a minority as a whole as a potential security risk is not simply a mistaken belief; it is a practice with material and symbolic consequences.

This approach is indispensable for identifying how apparently universal categories reproduce a particular standpoint. Yet it faces its own problem of explanatory closure: if majority fear is interpreted only as a discourse of domination, its connection to an actual external aggressor and to Estonia's history of occupation becomes difficult to represent except as ideological context. Conversely, an account centred solely on majority security discourse can make minority non-recognition appear secondary or strategically inconvenient. The interpretivist challenge is thus not merely to add the other side's meaning to an existing account, but to coordinate two frames that make different parts of the field visible and assign different meanings to formally similar acts. Such coordination requires a distinction between actor-level interpretations and the researcher-level procedure through which their relationship is reconstructed.

2.4 The Meta-Viewpoint Model

The MVM begins from the ontology of an asymmetric social field (Vetik, 2026). Integration is not neutral convergence on a shared norm; it is a relationship between structurally unequal positions. The Estonian majority's integration strategy and Estonian Russians' experience of that strategy are not merely different opinions about an identical object. They are position-bound perspectives that disclose different aspects of a co-produced reality. The majority frame foregrounds continuity of the Estonian language, state, and security. The minority frame foregrounds conditional belonging, unequal recognition, and the possibility that "integration" functions as group-level assimilation. Both are intelligible from their respective positions, but neither is complete.

This ontology requires a distinction between actor and researcher levels. At the actor level, lived frames are partial and asymmetrically situated. Their partiality is not simply an error to be eliminated: it is produced by actors' different positions, stakes, and costs. At the researcher level, the task is not to merge these frames into a single actor-neutral causal space. It is to construct a coordinating frame that preserves their difference while making their relation analysable. Epistemologically, the MVM implements this requirement through the tandem principle. The researcher models the frames and explananda of the opposed positions together because field effects arise from their relation. Majority overestimation of minority alignment with Russia and minority experiences of non-recognition are not independent contextual variables that directly constitute one another. They are positional manifestations of a field configuration whose positions are mutually constituted and whose manifestations may, through action and interpretation, reinforce the structure that generates them.

Methodologically, MVM treats equivalence as an achievement of research design rather than a pre-given property of items or groups. Its two-matrix architecture uses position-specific indicators to reconstruct each group's meaning-world and then compares them through a theoretically specified relational construct. In the present survey, this logic is approximated through common items combined with group-specific modules: Estonian respondents are asked about threat, trust, and perceptions of Russian-speaking residents, while minority respondents are asked about distancing from Russia, attachment to Estonia, securitisation, and recognition. Comparison occurs at the level of the relational pattern rather than through the assumption that every item has an identical meaning across positions.

The procedural foundation of this comparison is negative proceduralism. Drawing on Kantian mutuality and Rawlsian impartiality, it specifies what valid comparison must not do: it must not make one group's normative frame the default, naturalise one group's costs while problematising the other's, or use categories that actors could reasonably reject as structurally prejudicial if they did not know which position they would occupy (Rawls, 1971). Negative proceduralism does not erase power asymmetry or declare all claims equally valid, but disciplines the procedure by which claims are represented, compared, and evaluated (Vetik, 2026).

It is important to note that the three approaches should not be treated as universal rivals. Their explanatory relevance is contingent on the empirical state of the field. Variable-based mechanisms can be informative when the field's relational structure is relatively settled and the question concerns individual variation within it. MVM becomes indispensable when position-bound meanings and a persistent relational interethnic frontier organise that variation. Current evidence that minority attitudes are changing while mutual recognition remains blocked indicates precisely such a situation: individual-level movement is occurring, but the field-level relation continues to reproduce the dead circle.

3. Data and empirical results

The empirical data come from the survey "Identity Strategies in Estonian Interethnic Relations in the Context of Russia's War Against Ukraine", conducted

by Turu-uuringute AS in February–March 2026 for a Tallinn University research project (Turu-uuringute AS, 2026). The survey included 1,000 respondents and contained common questions as well as modules routed by ethnonational identification. The present article focuses on descriptive contrasts between ethnic Estonian respondents and respondents identified in the analysis as ethnic Russians. The analytical strategy is configurational rather than merely additive. It brings into relation four analytically distinguishable components of the post-invasion field: intensified external threat; reported minority distancing from Russian state policy and increased attachment to Estonia; majority distrust and symbolic association of local Russian-speakers with Russia; and minority experiences of securitisation and non-recognition. The ordering of these components in the exposition is analytical rather than a claim that the survey establishes a temporal-causal sequence between them. The “dead circle” refers to the relation among these components, not to any one survey item.

Although several items ask respondents to report change since the beginning of the war, the cross-sectional design cannot establish whether change in one positional block preceded or caused change in the other. The data identify their coexistence within the current field state; temporal feedback and field reproduction remain hypotheses for longitudinal investigation.

3.1 Intensified security threat

Russia’s war has intensified perceptions of insecurity across Estonia’s interethnic field, although it does so through position-specific histories and vulnerabilities. Among ethnic Estonian respondents, Russia is primarily perceived through the historical memory of occupation, the fragility of a small-language nation, and the contemporary possibility of military aggression. Among Estonian Russians, the war creates both a direct security concern and a symbolic crisis because language, family histories, and cultural affiliations may expose them to association with the aggressor state. Half of the Estonian Russian respondents in the 2026 survey condemned Russia’s military action in Ukraine, and nearly half regarded Russia’s current foreign policy as a threat to Estonia’s security. These findings are consistent with broader public-opinion monitoring showing substantial condemnation of Russia’s conduct among residents of nationalities other than Estonian and a marked rise in their support for Estonia’s NATO membership after the full-scale invasion. State Chancellery monitoring reported that support for NATO among Russian language respondents reached at 53 per cent in September 2023, as compared to 26% in February 2022 (State Chancellery, 2024). The important point is not convergence in all foreign-policy attitudes, but the emergence of a more substantial shared security orientation than existed before the war.

3.2 A limited integration window

Forty per cent of Estonian Russian respondents reported that their attitude towards Russia’s political leadership had become more negative in connection with the war. Thirty-one per cent agreed that the war had increased their attachment to Estonia. These reported changes indicate that external aggression may be associated

with psychological distancing from Russia and stronger identification with Estonia. They therefore suggest a possible opening for integration. At the same time, such individual-level movement coexists with an absence of perceived intergroup rapprochement: only 8 per cent agreed that the new security situation had brought Estonians and Estonian Russians closer together, whereas 76 per cent disagreed. The analytical significance of this disjunction is not that the survey demonstrates a failed temporal transition from minority reorientation to majority recognition. Rather, it shows that individual orientations and the current state of the relational field cannot be inferred from one another. Minority respondents may report movement away from Russia and towards Estonia while experiencing the boundary of national membership as unchanged or more restrictive.

3.3 Fear migration

Among ethnic Estonians, anxiety about Russia appears to migrate towards the domestic Russian-speaking population. Fifty-eight per cent reported that the war had reduced their trust in Russian-speaking residents. Only 36 per cent agreed that most Estonian Russians did not support Russia's war, while 41 per cent disagreed. Responses estimating the share of local Russian-speakers who support the Russian leadership's foreign-policy positions also exceeded the level of alignment reported by Russian-speaking respondents themselves. I use "fear migration" to name this relational displacement: legitimate fear of an external aggressor is transferred to a domestic population connected to that aggressor by language, cultural inheritance, or presumed geopolitical sympathy. The concept does not imply that all concerns about foreign influence are unfounded or that minority attitudes are uniform: it identifies the analytical slippage by which risk attached to a state becomes generalised into suspicion of a category of residents. The same security context strengthens protective majoritarian attitudes. Eighty-six per cent of ethnic Estonian respondents agreed that the state should devote still greater attention to protecting the Estonian language and culture. Given Estonia's history and demographic scale, this concern is intelligible. Its relational effect, however, depends on how protection is institutionalised and interpreted. When cultural protection signals that Russian language or identity is intrinsically suspect, a measure intended to increase security may weaken minority belonging and thereby undermine its own integrative purpose.

3.4 Rejection and blocked recognition

Russian-speaking respondents experience the intensification of majority fear as a restriction on recognition. Seventy-two per cent reported that they often or very often feel that the Estonian state and ethnic Estonians treat the Russian-speaking population as a potential security risk. Seventy-nine per cent agreed that they are not regarded as truly belonging, regardless of their loyalty to Estonia. Fifty-four per cent described themselves as being "in between" - neither a "real" Russian nor a "real" Estonian. These findings reveal a self-defeating relational logic. The war increases pressure on Estonian Russians to distance themselves from Russia, but the majority's distrust communicates that such distancing is not recognised as sufficient. Loyalty becomes something to be repeatedly demonstrated rather than a standing

that can be secured. Under these conditions, stronger attachment to Estonia may coexist with alienation from the national community. The dead circle should therefore be formulated carefully. Majority and minority responses are not symmetrical: the majority has greater capacity to institutionalise its categories, while the minority bears greater costs when belonging becomes conditional. Nor do the survey responses themselves constitute one another in a simple dyadic chain. Rather, majority fear and minority non-recognition are position-specific manifestations that can reinforce an asymmetric field in which each side's action confirms the other side's prior expectation. The survey reconstructs these manifestations as components of the same field state; their reciprocal reinforcement over time is a theoretical mechanism that the present cross-sectional data cannot directly test. The majority reads minority ambivalence as evidence of risk; the minority reads intensified scrutiny as evidence that instead of integration there is assimilation without recognition.

4. Explaining the dead circle

Dimension	Variable-based model	Critical-interpretivist model	MVM
Primary explanandum	Variation in attitudes or behaviour	Production of minority difference through dominant discourse	Reproduction of a relational field across opposed positions
Main strength	Causal decomposition and within-group heterogeneity	Power, history, meaning, and institutionalised categories	Tandem reconstruction of asymmetric, position-bound frames
Characteristic risk	Majority-defined outcomes appear neutral	Corrective standpoint becomes analytically exhaustive	Excessive abstraction unless linked to mechanisms and temporal evidence
Policy tendency	Target predictors, incentives, contact, and communication	Desecuritise and reform exclusionary institutions	Pair security and recognition through procedurally fair coordination

4.1 Majority-centred variable-based explanation

A majority-centred variable-based explanation defines the central problem as insufficient minority integration under heightened security risk. Its dependent variables include condemnation of Russian aggression, support for NATO,

Estonian-language competence, identification with Estonia, media use, political trust, and willingness to contribute to national defence. The explanatory task is to identify the factors that move individuals towards or away from these outcomes. This model would interpret the described empirical findings as evidence of differentiated minority adaptation. It would ask why some Estonian Russians have become more critical of Russia and attached to Estonia while others remain ambivalent. Candidate mechanisms would include generational replacement, citizenship, language competence, social networks, exposure to Estonian and Russian media, socioeconomic incorporation, and perceived discrimination. Policy would target these mechanisms through Estonian-language education, common information spaces, civic participation, intergroup contact, and incentives for political and institutional inclusion.

Such measures may be effective, and the MVM does not reject them. The problem arises when the benchmark is treated as self-evident: if integration is measured exclusively as minority convergence towards majority-defined positions, the majority's fear, misrecognition, and boundary-making disappear from the model or enter only as external contextual variables. The very phenomenon requiring explanation - the persistence of relational distance despite minority-level change - is then difficult to formulate. The model's policy risk is consequently one of unilateral conditionality: belonging is offered insofar as the minority meets standards whose legitimacy and meaning are defined from the majority position. This may improve measurable individual outcomes while leaving the recognition structure unchanged. In the present case, the 31 per cent reporting stronger attachment to Estonia alongside the 79 per cent reporting non-recognition exemplifies why individual integration and relational integration must be distinguished.

4.2 Minority-centred critical explanation

A critical-interpretivist explanation begins from the minority experience of collective suspicion. It treats the dead circle as a consequence of a nationalising and securitising discourse that symbolically aligns Russian-speaking residents with the Russian state (Schulze & Pupcenoks, 2025). From this perspective, the key finding is not inadequate minority adaptation but the majority's power to decide which residents count as unquestionably loyal and whose language and identity are marked as risks. This approach makes sense of the high levels of perceived securitisation and conditional belonging. It also explains why distancing from Russia may fail to produce recognition: the category "Estonian Russian" has already been embedded in a security narrative that individual declarations of loyalty cannot easily disconfirm. Policy recommendations would emphasise desecuritisation, equal treatment, minority participation in decision-making, protection from collective attribution of responsibility, and recognition of Estonian Russian identity as a legitimate component of Estonian society.

The contribution is essential because it restores the reception context and majority boundary-making to the explanatory field, in contrast to the variable-based approach. Yet a purely minority-centred account can invert rather than solve the one-sidedness problem. If Estonian language protection and security measures are

interpreted only as assimilation or domination, the majority's historically grounded vulnerability and Russia's active aggression become analytically flattened. An adequate explanation cannot ask the minority to understand majority fear while treating that fear as intrinsically illegitimate; nor can it ask the majority to recognise minority exclusion while representing all security concerns as neutral facts. The critical approach therefore identifies a constitutive part of the dead circle but does not by itself provide the procedure for coordinating competing claims. Its corrective force must be preserved within an architecture that distinguishes unequal power from unequal validity and that allows both domination and genuine threat to be represented simultaneously.

4.3 MVM: a relational explanation

The MVM changes the explanandum: the dead circle is neither primarily a minority deficit nor solely the product of a dominant discourse, it is a field-level configuration connecting an external aggressor, a state-defining majority, and a domestically embedded minority. This extends Brubaker's (1996) triadic nexus: nationalising state, national minority, and external national homeland should be understood not as fixed entities but as relational fields of competing positions. In the current case, moreover, the Russian state is not simply a symbolic homeland; it is an aggressor whose actions restructure domestic interpretations of language, loyalty, and security.

From the majority position, intensified protection of the Estonian language and vigilance towards Russian influence appear as necessary responses to an existential threat. From the minority position, the generalisation of these measures across Estonian Russian group as a whole appears as collective suspicion and evidence that their cultural difference prevents full belonging. Each frame discloses a real part of the field, and each obscures the costs visible from the other position. Their relation produces asymmetric visibility: majority actors may recognise the external threat but not the domestic injury caused by its displacement, while minority actors may recognise exclusion but understate the historical and geopolitical grounds of majority anxiety.

The MVM does not resolve this conflict by averaging the two accounts. A statistical midpoint between security and recognition would have no social meaning. Instead, it compares relationally equivalent moves from opposed positions. For the majority, the high-cost move is to protect national security and cultural continuity without converting Estonian Russian identity into presumptive disloyalty. For the minority, the high-cost move is to defend equal recognition and cultural plurality while explicitly acknowledging Estonia's security interests and distancing minority claims from the Russian state's instrumentalisation of "compatriot protection". These acts differ in terms of their substance, but are equivalent in relational function: each requires actors to move beyond ethnocentric closure while remaining situated in their own position.

This formulation also clarifies the relation between field-level and individual-level explanation. MVM explains why particular forms of variation are organised and interpreted as they are; variable-based and mechanism-based analysis can then

explain which individuals occupy, reproduce, or move between the available positions. The approaches become complementary once their explananda are distinguished. The empirical evidence described suggests that the field structure remains highly consequential because individual-level reorientation has not substantially narrowed perceived intergroup distance. Longitudinal evidence could test whether the gap between the two position-specific matrices is stable, narrowing, or widening.

4.4 Negative proceduralism and policy implications

The practical implication of MVM is the tandem principle, grounded in negative proceduralism. The principle is not a demand for identical concessions from unequal positions. It is a rule of relational coordination: no side may pursue its legitimate concern through a procedure that renders the other side's legitimate standing invisible. The content of the paired obligations is therefore asymmetric because the positions, powers, and costs are asymmetric.

For the Estonian majority and state institutions, the protection of language, culture, constitutional order, and national security is legitimate. Under the tandem principle, however, these aims should be pursued together with safeguards against collective suspicion, meaningful minority participation, and public recognition that the Estonian Russian identity is not evidence of geopolitical disloyalty. Security policy should distinguish behaviour and demonstrable risk from ethnolinguistic category membership. For Estonian Russian and their representatives, claims to linguistic rights, cultural continuity, political voice, and equal belonging are likewise legitimate. Under the tandem principle, these claims should be advanced together with unambiguous recognition of Estonia's cultural field, historical experience, constitutional continuity, and security needs, including the threat posed by Russian aggression and the Russian state's use of minority issues for geopolitical purposes. Equal recognition does not require neutrality between an aggressor and the state whose political community the minority inhabits.

There are empirical foundations which make this principle more than an abstract ideal. For example, the survey indicates partial common ground around Estonia's external security: substantial segments of the Russian-speaking population condemn Russia's war, regard Russian policy as a threat, and have moved closer to Estonia. In this context, neither the ideals of unity nor difference must be treated as the negation of the other. A national community can sustain a common constitutional and security framework while containing positionally distinct cultural attachments and historical experiences – and negative proceduralism provides the path for this accommodation. The terms of unity should not be set as if the majority's frame were socially unmarked, while the terms of diversity should not permit one group's claims to veto the security and constitutional foundations of the common polity. Policies should be assessed by asking whether their categories, burdens, and opportunities could be justified from both positions under conditions in which the evaluator did not know which position they would occupy. This is not substantive neutrality; it is procedural discipline under substantive asymmetry.

Concrete policy development would follow three tracks. First, monitoring of integration processes should use position-specific indicators and interpret discrepancies between majority and minority perceptions as relational findings rather than treating either as the definitive measure. Second, policy impact assessments should examine both security effects and recognition effects, including whether ethnolinguistic categories are being used as proxies for risk. Third, deliberative and communicative interventions should be designed in tandem: public acknowledgement of Estonia's security vulnerability should accompany visible repudiation of collective blame, while public recognition of minority belonging should accompany clear rejection of Russian aggression and imperial narratives.

5. Conclusion

Russia's war against Ukraine has restructured Estonia's field of national integration in ways that are simultaneously threatening and potentially generative. It has intensified security concerns and is associated with reported distancing from Russian state policy and stronger attachment to Estonia among parts of the Russian-speaking population. Yet the post-invasion field also displays a dead-circle configuration in which fear of Russia migrates towards distrust of local Russian-speakers, while that distrust is experienced as rejection and conditional belonging. This configuration constrains the potential integration opening: reported movement at the level of individual orientation coexists with an absence of perceived movement at the level of intergroup recognition.

The article has argued that explaining this configuration requires distinguishing three explananda. Variable-based analysis explains variation among individuals and can identify mechanisms of attitude formation and change. Critical-interpretivist analysis explains how dominant categories constitute minority difference and institutionalise unequal recognition. The MVM explains how position-bound meanings are coupled within an asymmetric field and how that field can persist despite individual-level shifts. None of these approaches is universally sufficient, their relevance depends on the empirical situation, but the present evidence shows why a relational meta-viewpoint is necessary: the key puzzle lies in the persistence of the gap between actor frames.

The MVM's contribution is therefore meta-theoretical. Ontologically, it treats the majority and minority positions as mutually constituted within a field that is itself transformed by the external security context. Epistemologically, it holds the two partial frames in tandem without collapsing them into a common actor-level metric. Methodologically, it constructs equivalence through negative proceduralism: the fairness of comparison depends on procedures that do not silently privilege either position as the neutral standard. For policy, this yields a tandem principle rather than a compromise formula. Estonia's security, language, and cultural continuity should be protected together with the equal standing and recognised belonging of Russian-speaking residents. Minority rights and cultural plurality should be pursued together with recognition of Estonia's constitutional continuity, historical vulnerability, and legitimate security interests. Because the positions are unequal, these obligations are not identical; because the field is shared, neither can be treated as optional.

The analysis carried out in this article remains exploratory. The proposed dead circle is supported by a coherent cross-sectional configuration, not yet by direct evidence of temporal feedback. Future research should examine its temporal dynamics through repeated surveys, qualitative process tracing, and explicit comparison of the two position-specific matrices over time. If minority reorientation is followed by greater majority recognition and a narrowing interpretive gap, this would indicate field transition. If individual attitudes change while the relational gap remains stable, it would indicate structural reproduction. A third possibility is reactive feedback, in which changes in one positional block intensify closure in the other.

The broader implication is that national integration under geopolitical threat cannot be reduced either to conformity or to critique. It requires the construction of a political and epistemic relationship in which unity and difference are co-ordinated fairly. Researchers can contribute to this task not by claiming “a view from nowhere”, but by making visible what each situated frame cannot see on its own and by ensuring that the meta-theory of explanation does not reproduce the dead circle it seeks to explain.

References

- Brubaker, R. (1996). *Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the New Europe*. Cambridge University Press.
- Esser, H. (2004). Does the “new” immigration require a “new” theory of intergenerational integration? *International Migration Review*, 38(3), 1126–1159.
- Favell, A., Zapata-Barrero, R., Jacobs, D., & Kastoryano, R. (2011). Integration. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), *International encyclopedia of political science*. SAGE.
- Feldman, G. (2005). Culture, state, and security in Europe: The case of citizenship and integration policy in Estonia. *American Ethnologist*, 32(4), 676–694.
- Heckmann, F., & Schnapper, D. (Eds.). (2003). *The integration of immigrants in European societies*. Lucius & Lucius.
- Hedström, P., & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the social sciences. *Annual Review of Sociology*, 36, 49–67. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102632>
- Integrating Estonia 2000-2007, Tallinn: Estonian Government, 2000.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Schinkel, W. (2018). Against “immigrant integration”: For an end to neocolonial knowledge production. *Comparative Migration Studies*, 6, Article 31. <https://doi.org/10.1186/s40878-018-0095-1>
- Schulze, J. L., & Pupcenoks, J. (2025). Securitizing Russian-speakers in Estonia and Latvia: The frame of integration and its limits. *Nationalities Papers*, 53(5), 1035–1059. <https://doi.org/10.1017/nps.2025.14>

Smith, D. J. (2002). Framing the national question in Central and Eastern Europe: A quadratic nexus? *The Global Review of Ethnopolitics*, 2(1), 3–16.

Spencer, S., & Charsley, K. (2021). Reframing “integration”: Acknowledging and addressing five core critiques. *Comparative Migration Studies*, 9, Article 18. <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00226-4>

State Chancellery. (2024, January 29). Survey reveals that people’s sense of security in Estonia remains high. <https://www.riigikantselei.ee/en/news/survey-reveals-peoples-sense-security-estonia-remains-high>

Turu-uuringute AS. (2026). Identity strategies in Estonian interethnic relations in the context of Russia’s war against Ukraine: Survey dataset, February–March 2026 [Unpublished dataset]. Tallinn University research project, TLÜ Research Fund 2024–2026.

Vetik, R. (2026). Comparison without othering: A Meta-Viewpoint Model of equivalence. *Frontiers in Political Science*, 8, Article 1641660. <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1641660>

Патримониализация итальянской и апулийской идентичности через бренд оливкового масла*

Фабио Де Леонардис

Аннотация: Используя инструменты мультимодального анализа, эта статья исследует, как небольшая и средняя компании по производству оливкового масла из итальянского региона Апулия используют различные семиотические модусы в упаковке своей продукции, чтобы подчеркнуть тесную связь товара с определенной территорией и заявленный «традиционный» способ производства. Эти аспекты неявно ценятся как маркеры высокого качества и знаки отличия для потребителей. Такой процесс дискурсивного конструирования тесной связи между пищевыми продуктами и конкретной территорией называется «патримониализация». В статье утверждается, что такое превращение оливкового масла первого холодного отжима в объект культурного наследия соответствует тенденции, вызванной изменениями в сельскохозяйственной политике ЕЭС 1992 года, которые побудили итальянских производителей масла работать как над качеством продукта, так и над его маркетинговой ценностью, чтобы выжить в условиях иностранной конкуренции. В статье также утверждается, что это превращение оливкового масла первого холодного отжима в наследие вписано в дискурс о «средиземноморской диете», которая рассматривает оливковое масло как ключевой компонент здорового питания, а потребление продуктов питания, произведенных в конкретном терруаре, как способ достижения здоровья. Последний дискурс согласуется с неолиберальным взглядом, который рассматривает здоровье не как зависящее от социальных факторов, а как результат индивидуального выбора.

Ключевые слова: оливковое масло, средиземноморская диета, патримониализация, упаковка, мультимодальный критический дискурс-анализ.

Введение

Апулия, регион на юго-востоке Италии, всемирно известна своим высококачественным оливковым маслом первого холодного отжима. Имея популяцию оливковых деревьев около 60 миллионов, она является ведущим итальянским регионом и одним из первых в мире по площади земель, занятых оливковыми рощами, и по производству оливкового масла. Его оливковые масла могут похвастаться пятью наименованиями, защищенными по происхождению (PDO), и одним защищенным географическим указанием (PGI) [44, сс. 251, 254] [21, с. 326] [31, сс. 417–433] [19]. Оливковое дерево также является важной частью ее культурной идентичности, поскольку оно характеризует ее ландшафт и фигурирует в качестве видного символа на флаге

* Полная версия данной статьи под названием «*Heritagization and Extra Virgin Olive Oil Packaging in Apulia*» была опубликована на английском языке в журнале *Social Semiotics* в июне 2026 года (DOI: 10.1080/10350330.2026.2667944).

и гербе региона. Производство оливкового масла в регионе является жизненно важной частью его экономики, при этом экспорт демонстрирует значительный рост, что соответствует общему расширению торговли оливковым маслом в Италии [52].

Однако за этим внешним успехом кроется парадокс: отечественное производство оливкового масла в Италии переживает спад. Текущие данные показывают, что оно в настоящее время покрывает менее половины внутреннего спроса страны, что указывает на значительный дефицит. За последние годы количество фирм, занимающихся производством оливкового масла, резко сократилось примерно на 31%, и площадь земель, отведенных под выращивание оливок, также уменьшилась, что отражает трудности в поддержании традиционных методов в условиях экономического давления и климатических изменений [15].

Урожай 2024–2025 годов, в частности, ознаменовал заметный сдвиг: Италия опустилась со второго места среди крупнейших производителей на пятое, уступив Испании, Турции, Греции и Тунису [13]. Тем не менее, несмотря на снижение внутреннего производства, показатели экспорта оливкового масла PDO из Италии продолжают расти и сталкиваются с повышенным мировым спросом. Парадоксально, но Италия также стала крупнейшим в мире *импортером* оливкового масла, чтобы удовлетворить внутренний спрос, даже несмотря на экспорт премиальных продуктов [52].

В этой конкурентной среде, производители стали обращать внимание на маркетинговые стратегии, особенно на упаковку и визуальный брендинг, чтобы дифференцировать свою продукцию и привлечь внимание потребителей к качеству и аутентичности [53]. Однако упаковка масла сталкивается с техническими ограничениями: химические и сенсорные качества оливкового масла чувствительны к таким факторам окружающей среды, как тепло, свет, влажность и кислород. Стандарты отрасли рекомендуют использовать защитные контейнеры, в первую очередь металлические или из темного стекла – для сохранения качества [31, сс. 289, 417–433] [25, с. 10]. Эти контейнеры также влияют на восприятие потребителей: бутылки из темного стекла воспринимаются как признак качества [36, сс. 180, 184–186].

Несмотря на эти ограничения, некоторые итальянские производители внедриli инновации в дизайн упаковки, которые вызывают напоминая о местном наследии, превращая бутылки в объекты искусства, связывающие потребителей с региональной культурой. Эти стратегии дизайна часто включают изображения архитектуры, ландшафтов и символов традиции с целью вызвать чувство аутентичности и принадлежности к месту [53]. Сувенирные магазины теперь также продают бутылки и кувшины для оливкового масла, дизайн которых отличается особой проработанностью. Тем не менее, удивительно, что было проведено мало научных исследований упаковки оливкового масла, причем большинство существующих исследований носят нормативный характер [47] [36]. Эта статья призвана восполнить этот пробел, используя социальный семиотический подход,

который подчеркивает коммуникативную роль упаковки и ее способность передавать сложные дискурсы и идеологии [37, с. 115] [65].

Анализируя конкретные тематические исследования с использованием инструментов мультимодального анализа [30] [34], статья будет утверждать, что упаковка апулийского оливкового масла, и особенно упаковка оливкового масла первого холодного отжима премиум-класса, демонстрирует растущую тенденцию подчеркивать территориальное происхождение продукта и устанавливать с ним тесную связь — процесс, называемый «патримониализация» (*heritagization/patrimonialisation*), то есть конструирование наследия [20, с. 81]. Ппатримониализация включает в себя создание нарратива, который связывает оливковое масло с конкретными местами, ландшафтами и традициями, тем самым повышая его статус и дифференцируя его на конкурентных рынках. Этот процесс переплетен с более широким дискурсом средиземноморской диеты, которая оценивает оливковое масло как полезный продукт питания, укорененный в культурном воображении тепла, естественности и традиций.

Двумя примерами для анализа станут небольшая семейная фирма *Antica Masseria Caroli* (<http://www.caroli.it>) и крупная компания-лидер рынка *Olearia Desantis* (<https://oleariadesantisspa.it/>). Они были выбраны потому, что первая является типичным представителем подавляющего большинства предприятий по производству оливкового масла в Апулии, которые, как правило, из одного поместья; вторая была выбрана потому, что это самая известная компания по производству оливкового масла в Апулии. Изучая то, как коммуницирует дизайн упаковки, статья будет показывать, как он опирается на дискурсы наследия, качества и региональной идентичности, как он их воспроизводит и как эти сообщения служат экономическим и идеологическим целям.

Исторический и культурный контекст оливкового масла

История оливкового масла насчитывает тысячи лет, что делает его одним из самых ранних товаров, которыми торговали и которые ценились в разных цивилизациях [59] [38, с. 5]. Его значение не ограничивается питанием, но распространяется на религиозную, социальную и символическую сферы [6]. В Древнем Египте и Месопотамии оливковое масло играло роль в религиозных ритуалах и считалось священным. В Греции и Риме оно стало символом цивилизации, ассоциирующимся с мудростью, чистотой и божественным благоволением. Оливковые деревья рассматривались как символы мира и победы, часто изображались в искусстве и мифологии [49] [40, с. 678] [10].

Первоначально оливковое масло служило практическим целям: как топливо для ламп, елей для ритуалов, а также как медицинский или косметический ингредиент. Лишь постепенно оно интегрировалось в кулинарные традиции, причем его использование значительно расширилось в классический период [55, сс. 322–324]. В Средние века ассоциация оливкового

масла с утонченностью и цивилизацией сохранилась, контрастируя с более скромными жирами, такими как сливочное масло и сало, которые стали ассоциироваться с низкими социальными слоями [5, с. 237].

После падения Римской империи социальный символизм оливкового масла претерпел эволюцию. Оно оставалось центральным элементом в Средиземноморье, но утратило некоторые из своих аристократических коннотаций. В Южной Европе, особенно в эпоху Возрождения и раннего Нового времени, сливочное масло приобрело престиж, особенно в качестве кулинарного жира [9, сс. 129–132] [32, сс. 468–469]. Позже в Великобритании оливковое масло использовалось даже в промышленности — для смазки оборудования [40, сс. 679–681].

Середина XX века ознаменовалась периодом упадка: оливковое масло рассматривалось как устаревшее и нездоровое, особенно с ростом переработанных жиров и изменением рациона питания. Репутация оливкового масла как здоровой пищи была утеряна на фоне послевоенной модернизации питания и подъема промышленного сельского хозяйства [38, с. 35]. Возрождение началось всерьез в 1959 году с основанием Международного совета по оливковому маслу (ИОС), организации, объединяющей большинство стран-производителей масла, которая ставила своей целью продвижение стандартов качества и содействие торговле [25]. Публикация книги *Eat Well and Stay Well* Ancel и Margaret Keys [27] стала еще одним поворотным моментом, поскольку она связала оливковое масло со здоровьем и долголетием, помогая переосмыслить его восприятие. Увлечение англоязычного мира средиземноморской едой началось именно в этот период с публикацией целого ряда кулинарных книг, создавших воображаемый образ Средиземноморья как места кулинарного единства и «зоны экзотического, но доступного отличия» [26, с. 8], которое могло легко стать объектом потребления через поедание его продуктов питания. Когда супруги Keys опубликовали обновленную и значительно переработанную версию своей книги в 1975 году, они дали ей новое название, которое привязало их медико-научный дискурс к этой кулинарной литературе и ее культурному воображаемому: *How To Eat Well and Stay Well; The Mediterranean Way* [28].

Их концепция «средиземноморской диеты» отводила оливковому маслу роль центрального жира в кухне, ассоциирующегося со здоровьем, жизненной силой и естественным образом жизни. Эта диета продвигалась по всему миру как модель здорового питания, делающая упор на свежие фрукты и овощи, цельные зерна, рыбу, вино и оливковое масло. Культурное воображение Средиземноморья как места тепла, естественности и жизненной силы подкреплялось кулинарными книгами, СМИ и маркетинговыми кампаниями. Оливковое масло изображалось как символ чистоты, традиций и здоровья — ценностей, которые резонировали с состоятельными потребителями, ищущими образ жизни, основанный на благополучии и аутентичности.

Эти кулинарные и медико-научные дискурсы часто романтизировали Средиземноморье как идиллическую, вневременную землю тепла, естественности и традиций и создавали культурный воображаемый образ,

связывающий средиземноморские продукты питания, особенно оливковое масло, с понятиями аутентичности, чистоты и здоровья. Такие воображаемые образы часто игнорировали социальные, политические и экономические сложности истории региона [40, с. 685] [54, с. 90].

Эти образы продолжают воспроизводиться и по сей день, что побудило антрополога Michael Herzfeld разработать концепцию «практического средиземноморьянизма» (*practical Mediterraneanism*), в которой «атрибуции средиземноморской культуры» являются продуктом дискурсивного конструирования [22, с. 50], подкрепленного экономическими интересами, которые восприняли их для воспроизводства дискурса, превращающего «Средиземноморье» в идентичность, принимаемую «в качестве позитивного обозначения с маркетинговыми возможностями» [11, с. 147]. Примером служит успешная заявка на включение «Средиземноморской диеты» в Список нематериального культурного наследия в 2013 году [60]. Средиземноморье как «бахтинский хронотоп» таким образом превратилось в «съедобный хронотоп» [29, с. xiii]: места и культуры можно познать через потребление «их» еды [42, с. 69].

Конструирование оливкового масла как наследия

Концепция наследия (*patrimoine*) возникла во время Великой Французской революции, когда некоторые революционеры разработали идею, что есть вещи (здания, произведения искусства, и т.д.), представляющиеся собой коллективные культурные ценности, которые считаются достойными сохранения для нации [56]. Со временем эта идея расширилась, до того, как появились конвенции ЮНЕСКО, которые первоначально защищали только материальные объекты, а затем включили и нематериальные практики, такие как обычаи, фестивали и кулинарные традиции [62] [63] [14, сс. 36–37].

Патримониализация включает в себя дискурсивные практики, которые приписывают культурную, историческую и социальную ценность объектам, ландшафтам или практикам. Она функционирует как политический и экономический инструмент, способствующий формированию идентичности, гордости и рыночной дифференциации [66, с. 13]. В контексте продуктов питания конструирование наследия состоит из нарративов, подчёркивающих аутентичность, традиции и терруар – локальные особенности, определяющие заявляемую уникальность продукта [48, с. 6] [7, сс. 1–2] [20, сс. 78–79] [14, с. 35].

Этот процесс является ответом на рост объема переработанных, индустриализированных продуктов питания, которые угрожают социальным и культурным смысловым значениям традиционных кулинарных обычаев. Потребители все чаще ищут гарантии аутентичности и связи с историей и местом [16, сс. 289–291]. Таким образом, конструирование наследия становится способом подтвердить культурную идентичность, установить иерархические различия и создать рыночную стоимость [48, сс. 3–4].

В Италии и Апулии конструирование наследия очевидно в продвижении местных продуктов питания, ландшафтов и архитектурных достопримечательностей. Оливковое масло, глубоко укорененное в региональной истории и ландшафте, все чаще позиционируется как продукт «наследия» и местной идентичности, явно связанный с конкретными местами, ландшафтами и традициями. Эта связь подкрепляется брендингом, визуальными образами и сторителлингом, которые вызывают ощущение аутентичности и культурной непрерывности [40, с. 682].

Превращение оливкового масла в объект наследия также включает в себя создание чувства «вневременности», часто через визуальные образы сельских ландшафтов, исторической архитектуры и религиозных символов. Эти визуальные коды служат для того, чтобы отделить продукт от современного, промышленного производства и представить его как естественное, ремесленное и аутентичное проявление региональной идентичности.

Примером этого процесса также является рост эногастрономического туризма («олеотуризма»): посещение оливковых поместий, участие в дегустациях и исследование ландшафтов стали частью культурного опыта [12]. Гастрономические сувениры, упаковка и этикетки часто содержат такие символы местного наследия, как исторические поместья, архитектурные достопримечательности или традиционные ремесла, что повышает культурный капитал продукта.

Однако конструирование наследия также маскирует социальные реалии, такие как эксплуатация сезонных мигрантов, занятых в выращивании оливок. В то время как упаковка и маркетинг подчёркивают традиции и аутентичность, они часто затушевывают сложность производства, включая нестабильность, низкие зарплаты и социальное неравенство, с которыми сталкиваются рабочие [45] [50].

Анализ и дискуссия

Исторически, маркетинг итальянского оливкового масла в конце XX века не связывал продукт с конкретной территорией [18, сс. 75–76]. Рекламные ролики тех лет подчеркивали традиции, ремесленное производство и натуральность, избегая конкретных географических указаний. Этот подход отражал тенденцию к универсализации образа оливкового масла как традиционного продукта, основанного на ремесленных методах, вызывающих доверие и ассоциации с природой и здоровьем.

Однако экономическое давление, в частности, отмена субсидий Европейского экономического сообщества в 1992 году и усиление иностранной конкуренции заставило итальянских производителей дифференцировать свою продукцию, акцентируя внимание на качестве масла и локальном терруаре [18, сс. 75–82]. Официальное введение классификаций Защищённого наименования места происхождения (PDO) в 1996 году

закрепило этот переход, установив чёткую нормативную и маркетинговую связь между оливковым маслом и конкретными географическими ландшафтами.

Современные стратегии упаковки среди апулийских производителей, наглядно иллюстрируют, как визуальные и материальные решения передают высшему сегменту продукта и региональную идентичность. Стандартное оливковое масло первого холодного отжима, предназначенное для массового потребления, обычно разливается в широкие круглые бутылки из тёмно-зелёного стекла объёмом один литр, разработанные в первую очередь из соображений практичности. Оформление этикеток на таких бутылках для массового рынка часто опирается на яркие красные и жёлтые тона, обрамлённые надписи, гербы и явные национальные маркеры (например, логотипы «100% итальянский продукт»), сигнализирующие о надёжности и широкой культурной ценности. И наоборот, оливковое масло категории премиум упаковывается в более изящные четырёхгранные бутылки объёмом 750 мл из более толстого и тёмного стекла с удлинённым горлышком. Тяжёлое тёмное стекло выполняет как функциональную роль, защищая жидкость от воздействия света, так и семиотическую, ассоциируясь с элитарностью, ремесленным производством и повышенной материальной ценностью [33, сс. 101].

Конкретные примеры демонстрируют, как бренды используют региональную архитектуру и наследие для формирования культурного авторитета. Линия PDO «Terra di Bari» от бренда *Desantis* использует строгую, тёмную цветовую палитру, вызывающую ассоциации со старинной чистотой и священными традициями [16, с. 279]. Вариант «Bitonto» включает высокодетализированные фотографии Кафедрального собора Битонто XII–XIII веков, напрямую связывая продукт с известным шедевром апулийской романской архитектуры [64, сс. 78–79] и с христианской символикой. Аналогичным образом, вариант «Castel del Monte» содержит изображение в тонах сепии восьмиугольной крепости XIII века, построенной императором Фридрихом II Гогенштауфеном [35], превращая масло в символ власти и ассоциируя его с исторической особой, которая тесно связана с локальной мифологией.

Производители, работающие вне системы PDO, используют иные визуальные стратегии для передачи аутентичности и завоевания доверия потребителей. На этикетках *Antica Masseria Caroli* используются элементы в форме арочных сводов, напоминающие традиционный погреб для хранения, и типографика, выдержанная в стиле римских каменных надписей, создающая ощущение вневременности. Центральным элементом этикетки является стилизованная иллюстрация исторического поместья (массерии) [8] [1], представляющая идеализированный образ благородного местного аграрного наследия. Поскольку у бренда нет официального статуса PDO, он опирается на двухъярусную репрезентацию происхождения: сочетает локальные апулийские образы с явной национальной символикой, чтобы подчеркнуть своеобразие и одновременно подкрепить доверие осторожных покупателей

[4]. Компания заходит ещё дальше в этой стратегии, выпуская керамические сувенирные бутылки в форме традиционного *трулло* – крестьянского жилища, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО [61]. Буквально воплощая форму архитектурного наследия, упаковка превращает масло в «съедобный сувенир» и маркер исторической подлинности.

Самое интересное, это то, что во всех этих продуктах наделение оливкового масла статусом культурного наследия происходит на двух уровнях – национальном и региональном/локальном. «Обычное» оливковое масло первого холодного отжима, предназначенное для массового потребления, позиционируется как «итальянское наследие», что отличает продукт от аналогов из других стран, которым негласно приписывается «более низкое» качество. В свою очередь, масло «высокого качества» преподносится как продукт, неразрывно связанный с Апулией или конкретным терруаром внутри этого региона, и предполагается, что именно эта связь обеспечивает «лучшее» качество. В данном случае национальная идентичность служит своего рода каркасом для конструирования самобытной региональной гастрономической идентичности.

Помимо эстетической привлекательности, подобная визуальная патримониализация работает как миф в бартовском смысле, превращая сложную историю в естественный, романтизированный нарратив [3, с. 202]. Изображая производство оливкового масла как непрерывный, вневременной промысел, нарративы на упаковке эффективно маскируют высокую степень промышленной механизации современности [39] и научные протоколы, необходимые для получения статуса «extra virgin» [40, с. 681]. Что принципиально важно, фокус на идиллических сельских пейзажах скрывает жёсткую эксплуатацию труда, тяжелые условия работы и социальное неравенство, с которыми сталкиваются сезонные мигранты, выполняющие физический сбор урожая [45] [50]. В конечном счёте такой маркетинговый подход еще перекликается с более широкими неолиберальными тенденциями, которые трактуют диету и здоровье как личный моральный выбор человека [2] [54, сс. 86, 89–90], отвлекая внимание потребителей от острых трудовых, экологических и структурных проблем.

Список использованных источников:

1. Antica Masseria Caroli. 2025. “La nostra storia.” Antica Masseria Caroli. <https://caroli.it/caroli-storia-famiglia/>
2. Badr, Sarah. 2022. “Re-Imagining Wellness in the Age of Neoliberalism.” *New Sociology Journal of Critical Praxis* 3: 1–10.
3. Barthes, Roland. 1970. *Mythologies*. Paris: Seuil (1st ed. 1957).
4. Bourdieu, Pierre. 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*. Paris: Editions de Minuit.
5. Braudel, Fernand. 1972. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*. Translated by S Reynolds. Vol. I. London: Fontana/Collins (1st ed. 1949).

6. Braudel, Fernand. 1985. *La Méditerranée: l'espace et l'histoire*. Paris: Flammarion.
7. Brulotte, Ronda L., and Michael A. Di Giovine. 2014. "Introduction: Food and Foodways as Cultural Heritage." In *Edible Identities: Food as Cultural Heritage*, edited by Ronda L. Brulotte and Michael A. Di Giovine, 1–28. Farnham-Burlington VT: Ashgate.
8. Calderazzi, Antonella. 2003. *L'architettura rurale in Puglia. Le masserie*. Fasano: Schena.
9. Capatti, Alberto, and Massimo Montanari. 2013. *La cucina italiana. Storia di una cultura*. Roma-Bari: Laterza (1st ed. 2005). Ebook.
10. Charlot, Colette. 2012. "L'olivier dans l'histoire: symbole et religion, médecine et pharmacie." In *Histoire de l'Olivier. L'arbre des temps*, edited by Catherine Breton and André Bervillé, 13–28. Versailles: Quae.
11. Colás, Alejandro, Jason Edwards, Jane Levi and Sami Zubaida. 2018. *Food, Politics and Society: Social Theory and the Modern Food System*. Oakland: University of California Press.
12. De Andreis, Paolo. 2025. "PDO and PGI Tourism Boost Olive Oil Industry in Italy." *Olive Oil Times*, July 23, 2025. <https://www.oliveoiltimes.com/business/europe/pdo-and-pgi-tourism-boosts-olive-oil-industry-in-italy/141116>.
13. De Andreis, Paolo. 2025a. "Italy Unveils Plan to Revitalize Sector." *Olive Oil Times*, March 19, 2025. <https://www.oliveoiltimes.com/production/italy-unveils-plan-to-revitalize-sector/137740>.
14. Di Fiore, Laura. 2019. "Heritage and Food History: A Critical Assessment." In *Food Heritage and Nationalism in Europe*, edited by Ilaria Porciani, 35–50. Abingdon: Routledge.
15. Fiorio, Emanuele. 2024. "Contrastare abbandono olivicoltura: verso proposta di legge nazionale." *Oil Meridian*, March 27, 2024. <https://www.oilmeridian.com/articoli/contrastare-abbandono-olivicoltura-proposta-legge-nazionale>.
16. Fischler, Claude. 1988. "Food, Self and Identity." *Social Science Information* 27 (2): 275–292.
17. Garibaldi, Roberta. 2025. *Rapporto sul turismo enogastronomico italiano*. Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.
18. Grandi, Alberto. 2020. *Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani*. Milano: Mondadori.
19. Granitto, Ylenia. 2020. "E.U. Approves PGI for Apulian Extra Virgin Olive Oil." *Olive Oil Times*, January 2, 2020. <https://www.oliveoiltimes.com/production/e-u-approves-pgi-for-apulian-extra-virgin-olive-oil/76982>.
20. Grasseni, Cristina. 2013. "La patrimonializzazione del cibo. Prospettive critiche e convergenze 'sul campo'." *Voci* 10: 78–87.
21. Gurrieri, Antonia Rosa, and Sabrina Spallini. 2017. "Networking Entrepreneurship in High-Quality Agri-Food: The Case of Olive Oil Production in

Apulia.” In *Handbook of Olive Oil: Phenolic Compounds, Production and Health Benefits*, edited by Jozef Miloš, 323–340. New York: Nova.

22. Herzfeld, Michael. 2005. “Practical Mediterraneanism. Excuses for Everything, from Epistemology to Eating.” In *Rethinking the Mediterranean*, edited by William V. Harris, 45–63. Oxford-New York: Oxford University Press.

23. IOC (International Olive Council). 2025. “Mission and Basic Texts.” IOC. <https://www.internationaloliveoil.org/about-ioc/mission-basic-text/>.

24. IOC (International Olive Council). 2025a. “The Olive and Olive Oil Health Information System.” IOC. <https://meddietolivehealth.com/>.

25. IOC (International Olive Council). 2025b. “Trade Standard Applying to Olive Oils and Olive Pomace Oils. COI/T.15/NC No 3/Rev. 21 July.” IOC. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2025/07/TRADE-STANDARD-REV-21_EN.pdf.

26. Kashdan, Henry E. 2017. “Anglophone Cookbooks and the Making of the Mediterranean.” *Food and Foodways* 25 (1): 1–19.

27. Keys, Ancel, and Margaret Keys. 1963. *Eat Well and Stay Well* (1st ed. 1959). New York: Doubleday.

28. Keys, Ancel, and Margaret Keys. 1975. *How To Eat Well and Stay Well The Mediterranean Way*. New York: Doubleday.

29. Kirshenblatt-Gimblett B. 2004. “Foreword.” In *Culinary Tourism: Material Worlds*, edited by Lucy M. Long, xi–xiv. Lexington: University Press of Kentucky.

30. Kress, Gunther. 2010. *Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*, Abingdon-New York, Routledge.

31. Larentis, Marco, Simone De Nicola and Stefano Bonamico. 2016. *Olio extravergine d’oliva*. Milano: Hoepli. Ebook.

32. Lauriou, Bruno. 2016. “Cuisines médiévales (XIV^e et XV^e siècles).” In *Histoire de l’alimentation*, edited by Jean-Louis Flandrin and Massimo Montanari, 460–477. Paris: Fayard, Ebook.

33. Ledin, Per, and David Machin. 2018. *Doing Visual Analysis: From Theory to Practice*. Los Angeles: SAGE.

34. Ledin, Per, and David Machin. 2020. *Introduction to Multimodal Analysis*. London: Bloomsbury Academic (1st ed. 2007).

35. Licinio, Raffaele. 2002. *Castel del Monte. Un castello medievale*. Bari: Mario Adda Editore.

36. Limbo, Sara, Claudio Peri, and Luciano Piergiovanni. 2014 “Extra-virgin Olive Oil Packaging.” In *The Extra-virgin Olive Oil Handbook*, edited by Claudio Peri, 179–200. Chichester: Wiley Blackwell.

37. Marrone, Gianfranco. 2016. *Semiotica del gusto. Linguaggi della cucina, del cibo, della tavola*. Milano-Udine: Mimesis.

38. Mataix, José and Francisco Javier Barbancho. 2006. “Olive Oil in Mediterranean Food.” In *Olive Oil and Health*, edited by José L. Quiles et alii, 1–44. Wallingford-Cambridge MA: CABI.

39. Mazzotti, Massimo. 2004. "Enlightened Mills: Mechanizing Olive Oil Production in Mediterranean Europe." *Technology and Culture* 45 (2) (April): 277–340.
40. Meneley, Anne. 2007. "Like an Extra Virgin." *American Anthropologist* 109 (4) (New Series): 678–687.
41. Meneley, Anne. 2008. "Oleo-signs and Quali-signs: The Qualities of Olive Oil." *Ethnos* 73 (3): 303–326.
42. Meneley, Anne. 2020. "The Olive and Imaginaries of the Mediterranean." *History and Anthropology* 31 (1): 66–83.
43. DOI: 10.1080/02757206.2019.1687464.
44. Migliorini, Marzia. 2014. "Olive Oils from Italy." In *Olive Oil Sensory Science*, edited by Erminio Monteleone and Susan Langstaff, 247–268. Chichester-Hoboken: Wiley Blackwell.
45. Osservatorio Placido Rizzotto - FLAI CGIL. 2022. *Agromafie e caporalato. Sesto rapporto*. Roma: Futura Editrice.
46. Parasecoli, Fabio. 2014. *Al Dente: A History of Food in Italy*. London: Reaktion Books.
47. Piscopo, Amalia, and Marco Poiana. 2012. "Packaging and Storage of Olive Oil." In *Olive Germplasm: The Olive Cultivation, Table Olive and Olive Oil Industry in Italy*, edited by Innocenzo Mazzalupo, 201–222. Rijeka: Intech.
48. Porciani, Ilaria. 2019. "Food Heritage and Nationalism in Europe." In *Food Heritage and Nationalism in Europe*, edited by Ilaria Porciani, 3–32. Abingdon-New York: Routledge.
49. Protopapas-Marneli, Maria and Antonia Trichopoulou. 2025. "Olive Fruit and Olive Oil in Greece: Testimonies of Its Uses through Mythology, Legend, History and Philosophy." *International Journal of Gastronomy and Food Science* 42, <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2025.101287>.
50. Russi, Francesca. 2024. "Raccolta olive, il 70% dei braccianti al lavoro senza contratto." *Rai News*, November 22, 2024. <https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2024/11/raccolta-olive-il-70-dei-braccianti-al-lavoro-senza-contratto-controlli-carabinieri-modugno-d306cd68-a6a8-437a-a023-3f8118047c73.html>.
51. Il Sole 24 Ore. 2025. "Puglia, boom di esportazioni di pasta e olio del barese." *Il Sole 24 Ore*, March 3, 2025. https://www.ilsole24ore.com/art/puglia-boom-esportazioni-pasta-e-oliodel-barese-AGLE2OoC?refresh_ce&nof.
52. Il Sole 24 Ore and Radiocor. 2024. "Rapporto sulla filiera Olivicola." BPER Banca, November 14, 2024. <https://www.bper.it/perche-sceglierci/magazine/articoli-guide/rapporto-sulla-filiera-olivicola>.
53. Squadrilli, Luciana 2024. "The Art of Italian Olive Oil Packaging." *The Olive Oil Professor*. <https://oliveoilprofessor.com/blog/the-art-of-italian-olive-oil-packaging>.
54. Stano, Simona. 2023. *Critique of Pure Nature*. Cham: Springer.
55. Tardi, Alan. 2014. "The Culinary Uses of Extra-virgin Olive Oil." In *The Extra-virgin Olive Oil Handbook*, edited by Claudio Peri, 321–338. Chichester: Wiley Blackwell.

56. Thiesse, Anne-Marie. 2010. *Faire les Français. Quelle identité nationale?* Paris: Stock.
57. Trichopoulou, Antonia, Miguel A Martínez-González, Tammy YN Tong et alii. 2014. "Definitions and Potential Health Benefits of the Mediterranean Diet: Views from Experts around the World." *BMC Medicine* 12 (112).
58. DOI: 10.1186/1741-7015-12-112.
59. Twede, Diana. 2002. "Commercial Amphoras: The Earliest Consumers Packages?" *Journal of Macromarketing* 22 (1): 98–108.
60. UNESCO. 2013. "Mediterranean Diet." UNESCO. <https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet-00884>.
61. UNESCO. 2025. "The *Trulli* of Alberobello." UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/list/787/>.
62. UNESCO. 2025a. "Our History." UNESCO. <https://www.unesco.org/en/brief/history?hub=171411>.
63. UNESCO. 2025b. "Cultural Practices and Expressions of Intangible Heritage." UNESCO. <https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage/grid?hub=66210>.
64. Velati, Vincenzo. 2001. *Le cattedrali romaniche pugliesi*. Roma-Bari: Laterza.
65. Volli, Ugo. 2005. "Per una grammatica dell'imballaggio." In *Laboratorio di semiotica*, 107–115. Roma-Bari: Laterza.
66. Whitehead, Christopher, Mads Daugbjerg, Susannah Eckersley, and Gönül Bozoğlu. 2019. "Dimensions of European Heritage and Memory: A Framework Introduction." In *Dimensions of Heritage and Memory: Multiple Europes and the Politics of Crisis*, edited by Whitehead, Christopher et alii, 1–25. Abingdon-New York: Routledge.

Казахизация этносоциального пространства Казахстана: тенденции и перспективы процесса*

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич

Демографические данные последних 30 лет свидетельствуют, что в Казахстане произошло кардинальное изменение этнического состава населения. Численность казахского населения возросла за этот период с 40% до 70% и актуализировала проблематику процесса «казахизации» этносоциального и коммуникативного пространства страны, бывшего в недалеком прошлом практически полностью русскоязычным. Новая этнодемографическая, социокультурная и языковая ситуация становится фактором, трансформирующим казахстанский социум и изменяющим привычное социальное самочувствие всех групп населения – местных казахоязычных и русскоязычных казахов, казахских этнических репатриантов – кандасов и неказахских групп населения, составляющих около 30% населения страны.

Все годы независимости, по большей части на страницах казахоязычных СМИ шла и продолжает идти дискуссия на эту тему: какими темпами и с помощью каких механизмов идет казахизация как переопределение бывшей советской идентичности в сторону национализации – демографическое увеличение численности казахов, возрождение родного языка, открытие новых и переоткрытие «известных» страниц национальной истории, приобщение к государственному языку русскоязычных граждан, в том числе и этнических казахов, внедрение национальных идеологем в систему образования через обновленное содержание учебников истории, возвращение в учебные программы национальных героев, изменение облика городов через новые памятники и ономастический процесс переименований улиц, городов и т.д. Все эти аспекты национального переопределения собственной идентичности можно назвать процессом казахизации, который является ядром этнополитического процесса. Процесс этот идет очень постепенно, поскольку регулируется государством, которое не допускает форсирования данного процесса и проявления крайностей в пространстве нациестроительства.

Казахизация (национализация) как ядро этнополитического процесса

В казахстанском обществе на протяжении всех лет независимости идет, не всегда заметный беглому взгляду, повседневный плебисцит на тему: что есть «казахскость»? Содержание этого термина воспринимается как ответ на вопрос, что считать настоящей казахскостью, какие моральные принципы и атрибуты можно и должно считать его (термина) неотъемлемыми характеристиками. В попытках людей ответить самим себе и окружающим на этот вопрос нет ничего удивительного, поскольку на такого рода обсуждения

* Исследование проведено в рамках финансирования Комитета науки МНВО РК – грант ИРН АР23489872 «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.).

в советский период было наложено табу. Национальный облик гражданина того периода по определению должен был быть в первую очередь советским. А уже затем «сверху» разрешалось дозированно вносить в этот облик определенный этнический колорит, который должен был выгодно подчеркивать советскость как верность коммунистическим идеалам, дружбу народов и пролетарский интернационализм. После распада Союза ССР процесс переопределения этнической и национальной идентичности народов бывшего СССР принял закономерный и необратимый характер национализации, обращения к собственным этнокультурным и историческим корням. В нашем случае, в первую очередь это было обращение к родному этническому языку, который оказался в особенно ослабленном положении в сравнении с русским языком, используемом повсеместно в коммуникативном пространстве.

Как отмечает Беате Эшмент, известный германский социолог и политолог многие годы изучающая Казахстан, рост численности казахов до 70% «оказывает влияние на все сферы жизни, значимость казахов и всего казахского растет. Однако это не означает, что этот процесс обязательно автоматически будет направлен против неказахов или он будет иметь для них негативные последствия. Например, повторное восстановление казахской истории и переименование мест и улиц само по себе не является националистическим и направленным против какой-либо группы населения, а представляет собой необходимый акт деколонизации» [1, с. 234-235].

Казахстанский политолог Рустем Кадыржанов считает основной тенденцией эволюции национального строительства казахизацию национальной идентичности. При этом он отмечает, что казахизацию нельзя понимать в одностороннем ключе – только лишь как процесс внедрения казахского языка в области, в которых доминирует русский язык [2, с. 50–51]. Казахизация – это процесс выхода на ведущие позиции в различных сферах общественной жизни казахской культуры, языка и символов казахского народа. Также, он предлагает понимать казахизацию как вполне закономерный ответ на русификацию советского периода в демографической, политической и языковой сферах, ссылаясь на теорию национализирующегося государства Р. Брубейкера [3].

В теоретическом плане, мы являемся свидетелями процесса казахизации (национализации), начиная с ее этнодемографического аспекта, развертывавшегося с конца 90-х гг. по сей день, и напрямую влияющего на ее коммуникативный аспект – языковой, политической и социокультурной трансформации. Известный исследователь Центральной Азии и Казахстана Марлен Ларюэль замечает, что исследователи региона оставили без внимания большинство изменений последних двадцати лет: «этнодемографические изменения, формирование казахскоязычного городского мира, рост региональной дифференциации, социокультурную трансформацию «снизу - вверх» и другие процессы, ставшие результатом процесса казахизации. Очевидно, что всеказахстанскость находится на спаде, а казахскость растет.

Это критический элемент перехода от постсоветской эпохи к пост-постсоветской эпохе» [4].

Развертывающийся процесс казахизации (национализации) Казахстана как молодого государства, реакция на него внешнего мира, этнического (титульного) большинства и этнических меньшинств на этот процесс, и возникающие в связи с этим межгрупповые взаимодействия, коллизии и конфликты в результате которых формируется национальная идентичность и являются предметом исследования в данной статье.

Прикладной аспект нашего проекта «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» (2024-2026 гг.), направленный на исследование межгрупповой напряженности и выработку мер по предупреждению межэтнических и межгрупповых конфликтов, также имеет очень большое значение и связан он, на наш взгляд с основным аспектом процесса казахизации – определением казахами своей роли в национальном строительстве. Возвращение на историческую родину более миллиона этнических казахов – кандасов, принесших с собой свои представления о казахскости, которую они, на взгляд не только их самих, сохранили в более первозданном виде, также внесли свой заметный триггер в дискуссии о настоящей казахскости. Речь, в первую очередь, о сохранении более чистого языка, включающего более древние пласты исторической памяти и не интегрировавшего в себя иноязычные речевые и словесные заимствования, а также, сохранившиеся обычаи, традиции, народный фольклор и образцы устного народного творчества.

Методология исследований

Основным методологическим инструментом исследований последних лет стали фокус-групповые социологические исследования, которые, наряду с количественными замерами социального самочувствия казахстанского населения проводятся Институтом философии, политологии и религиоведения в режиме мониторинга уже на протяжении более 12 лет. Эти исследования на постоянной основе демонстрируют, что этнокультурные границы в повседневной жизни большинства населения, имеют тенденцию к росту своей значимости. Этническая солидарность и мобилизация оказываются во многом определяющими при выборе жизненных стратегий как титульного большинства – казахов, так и других этнических групп Казахстана.

В последние годы исследования в проекте «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» были более сфокусированы на междисциплинарном изучении т.н. «взгляда снизу», дискурса повседневности, мнений обычных людей (т.н. bottom-up sociology), который зачастую отличается от взгляда сверху (элитарного взгляда). Помимо фокус-групповых дискуссий (ФГД) в областных центрах, малых городах и аулах четырех областей Юга страны (Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской) арсенал исследований включал глубинные интервью с простыми гражданами, наблюдения, интервью с экспертами и изучение контента местных СМИ и социальных сетей.

Триггеры стимулирующие дискуссии о политике национализации

За последние несколько лет информационными поводами, деструктивно повлиявшими на этносоциальные процессы, стали, во-первых, военный конфликт между Украиной и Россией, а также, постоянно озвучиваемые претензии российских государственных и общественных деятелей, политологов и медийных персон в отношении языковой политики, независимости и территориальной целостности Казахстана. Этих претензий настолько много, они общеизвестны и находятся в открытых источниках, вызывая незатухающую дискуссию в среде казахстанских экспертов, блогеров и простых граждан, что нет необходимости в приведении ссылок на данные материалы. Во-вторых, очень чувствительной темой оказались действия некоторых казахоязычных граждан и блогеров, которые требуют от русскоязычных граждан знания государственного языка, чаще всего на почве предоставления тех или иных услуг в сфере обслуживания населения [5].

Триггером мелких языковых конфликтов, как правило, становятся съемки на камеру телефона, которые публикуются в социальных сетях и затем становятся предметом бурных обсуждений общественности. Причем конфликты связаны не только с требованиями казахоязычных граждан обслуживания их на государственном языке, но и требований русскоязычных говорить только на русском языке [6].

Языковые претензии граждан друг к другу в повседневной жизни являются далеко не односторонним процессом, как это может показаться под влиянием многочисленных внешних интернет-вбросов и страшилок про «языковые патрули». Двустороннее направление взаимных языковых претензий подтверждается и нашими фокус-групповыми исследованиями:

Казах, 35 лет, самозанятый, г. Шымкент: *Надо наказывать таких людей, которые говорят: «На казахском разговаривай». Такие люди сами ничего не могут, сами ничего не знают и хотят, чтобы все с ними на казахском разговаривали. Каждый сам знает, на каком языке ему разговаривать. Или вот эти бабушки, которые в Советском Союзе остались, начинают говорить всякое. Казахский принципиально не учат, начинают указывать другим, допустим: «В этом дворе не играй, это мой двор!», «С моим внуком на русском разговаривай, на казахском не разговаривай!». Есть такие люди... это не прямо национальный вопрос, но есть те, кто до других детей лезут с этим. Есть такое!*

Русский, 30 лет, самозанятый, г. Шымкент: *Таких, да, людей таких много.*

Казах, 35 лет, самозанятый, г. Шымкент: *Мы про таких людей... У них всех еще к этому всему национализм прибавляется.*

Эффективность казахизации как культурно-языкового процесса с одной стороны зависит во многом от внешнеполитического фактора, в частности, от восприятия этих процессов ближайшим союзником и северным соседом Казахстана – Россией, политика которой имеет заметное влияние на

казахстанский политический дискурс. С другой стороны, очень многое зависит от восприятия – принятия или отвержения этих процессов простыми гражданами страны (снизу).

Красноречивым примером, иллюстрирующим эту двухфакторность процесса как сочетание инициатив и действий «снизу» и «сверху» может послужить затянувшийся процесс перехода казахского алфавита на латиницу. Это явление очень сложно просто игнорировать, поскольку оно стало частью повседневной жизни казахстанцев, которые ежедневно наблюдают «творчество снизу» в применении латинизированного написания казахских вывесок и текстов. Эта самодеятельность «снизу» не осталось без внимания «сверху». Правительство временно запретило использование латиницы до официального принятия нового алфавита [7].

Казахизация как процесс переопределения понятия «казахскость»

В ходе полевых исследований последних лет в селах и городах Юга Казахстана – полиэтническом регионе страны, выделявшимся ранее межэтнической конфликтностью, выяснилось, что казахские этнические репатрианты – кандасы, в своих жизненных стратегиях опираются скорее на собственные представления о специфике национального строительства, зачастую не учитывающие сложившиеся социетальные реалии местных сообществ. Мнение кандасов о казахизации, в первую очередь коммуникационного пространства местных сообществ, выстраивают внутригрупповые представления об общественном устройстве на основе убеждений об особой роли казахов и казахского языка в этих процессах. Представления об особом месте титульного этноса в нациестроительстве, повседневные дискуссии о «казахскости» между местными гражданами и кандасами, представляют собой столкновение взглядов на суть и содержание термина. У местных оно формировалось на протяжении многих десятилетий совместного проживания в атмосфере внешнего преобладания ценностей интернационализма и господства русского языка во всех сферах общественной жизни. Кандасы же считают, что именно они являются реальными носителями казахскости, поскольку смогли сохранить родной язык, традиции и обычаи в их «первозданности».

По мнению местных ученых, исследовавших тематику казахизации в связи с адаптацией кандасов, в немногочисленных публикациях на эту тему ставится «акцент на проблему взаимоотношений репатриантов и местных жителей, описываемую, прежде всего, через взгляд представителей принимающего общества» [8, с. 61].

Мнения самих кандасов малоизвестны широкой аудитории в Казахстане. Благодаря усилиям зарубежных ученых мнения кандасов о процессах интеграции на исторической родине становятся известными достаточно узкой аудитории зарубежных интеллектуалов, интересующихся процессами национализации и исследующих регион Центральной Азии [9].

Наша задача – в ходе исследования обратить внимание на мнения самих кандасов относительно процесса адаптации, их представлениях о процессе казахизации, проявлениях «казахскости» в различных контекстах социального взаимодействия. Казахизация создает новую коммуникативную среду, в которой становится больше казахоязычного интернет-контента, больше требований к знанию государственного языка. В наших исследованиях нами используются материалы проведенных фокус-групповых исследований, включенного наблюдения и интервью осуществленных группой ученых Института философии, политологии и религиоведения с кандасами, прибывшими в разное время из Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Китая и местным населением. Мнения кандасов «снизу» позволяют нам обратить внимание на субъективные аспекты интеграционных стратегий репатриантов, а не только мнения принимающего большинства.

Казашка, 36 лет, временно не работает, кандас из Каракалпакстана, аул им. Рыскулова, Тулкубасский район Туркестанской области: *Например, русские возмущаются, когда мы говорим по-казахски. Если говоришь на казахском русские говорят, что мы националисты. Я думаю, что русские столько лет, прожившие в Казахстане и не могут говорить по-казахски, сами националисты. Не научились говорить даже те, которые родились в Казахстане.*

Казашка, 32 года, домохозяйка, кандас из Каракалпакстана, аул им. Рыскулова, Тулкубасский район Туркестанской области: *Особенно русские здесь возмущаются. Когда спрашиваешь их на казахском языке, они отвечают на русском. Мы хотим, чтобы все разговаривали на казахском. Ведь у нас государственный язык – казахский. Мы все живем в Казахстане и хотим, чтобы все говорили на казахском языке.*

Казах, 67 лет, пенсионер, кандас из Таджикистана, аул Карабулак Туркестанской области: *Нардо, чтобы казахский язык стал языком межнационального общения. Пусть все нации разговаривают на казахском языке. Это государственный язык. Парламент, депутаты, акимы – все должны говорить на казахском языке.*

Частичная закрытость этнических сообществ – курдского, дунганского и др., и отдельных сообществ кандасов, создает препятствия для интеграционных процессов. Тюркоязычные этнические группы, в особенности, узбеки, кыргызы, частично турки, уйгуры и азербайджанцы, а также персоязычные таджики более склонны к принятию процесса казахизации с его повышением роли казахского языка и культуры казахов в коммуникативном пространстве местных сообществ. Они более лояльно относятся, в первую очередь, к повышению требований к владению государственным языком и его повсеместному использованию. Тем не менее, нельзя не отметить продолжающиеся незначительные по интенсивности, но многочисленные по количеству конфликты на языковой почве в

общественных местах, при получении услуг, массовость которых была выявлена нами в процессе проведения социологических замеров:

Метиска – отец кореец, мать уйгурка, 32 года, медсестра, г. Текели Жетысуской области: *У нас на работе такое бывает (конфликт на языковой почве – прим. интервьюера). У нас сотрудница русская, она казахский вообще не знает. Приходят новые на прикрепление к поликлинике, начинают говорить с ней, а она не понимает их.*

Интервьюер: *Они не знают русского языка?*

Метиска, 32 года, медсестра: *Они знают, но принципиально стоят на своем, типа: «Мы живем в Казахстане, обслуживайте нас на казахском!». Бывает такое, наблюдала.*

Интервьюер: *И как вы выходите из ситуации?*

Метиска, 32 года, медсестра: *Зовем коллегу, знающую казахский. Как в библиотеке, так же. Так что бывает и у нас.*

Интервьюер: *А вы уверены, что эти граждане знают русский язык?*

Метиска, 32 года, медсестра: *Да, конечно. Слышим же, видим своими глазами, что могут они на русском разговаривать, но когда им не надо или невыгодно, тут же требуют говорить с ними на казахском, типа не понимают о чем речь.*

Метиска – отец казах, мать русская, 21 год, бариста в кафе, г. Конаев Алматинской области: *Да много конфликтов и ссор на языковой почве. Например, я говорю на русском, а они... я же знаю, что они знают русский, но они требуют от меня, чтобы я разговаривала с ними на казахском языке. Тем более, что у меня фамилия казахская и на этой почве было очень много ссор у меня. У меня отец казах и они требуют, чтобы я отвечала им на казахском.*

Интервьюер: *А как на счет того, чтобы просто выучить язык?*

Метиска, 21 год, бариста: *Да в школе я учила его, но сейчас у меня не особо много времени, если честно. У меня еще и общественная работа и с казахским продвигается, но совсем потихоньку. Но ссор все равно много.*

Интервьюер: *Почему они требуют? Может быть они действительно не знают языка? Может это кандасы – из Китая, Монголии, дальних стран?*

Метиска, 21 год, бариста: *Они все из вредности так говорят, я же знаю, вижу, что они знают русский язык!*

Гречанка, 67 лет, владелец магазина, пос. Луговое Жамбылской области: *Один случай расскажу, мужчина казах лет 40 заходит в магазин и говорит моему мужу на русском языке: «Дайте мне сигареты в долг». Я смотрю на мужа, он хочет ему дать. Я говорю мужу: «Ты его знаешь, что хочешь дать?» Муж говорит: «Не знаю». Я говорю: «Тогда зачем даешь?» и покупателю говорю: «Мужчина, извините, мы в долг сигареты не даем!». Он говорит мне: «Қазақша айтпайсың ба?» (Почему не отвечаешь на казахском?). Я говорю: «Ты сам начал говорить по-русски. Поэтому я*

ответила на русском. Хочешь қазақша? Мен саған темек қарызға бермеймін. Білдің бе?» – ответила я. Он тут же ушел. Выходит, чуть что-то не так, сразу тут же включается национальный вопрос. Просит на русском, а потом требует, чтобы я ответила на казахском. Я отвечаю, проблем нет. Факт в том, что ты это ощущаешь как несправедливость.

По результатам фокус-групповых исследований и анализу интернет-контента достаточно давно выявлена тенденция разделения общества – на сторонников и противников форсированного внедрения государственного языка в официальный политический дискурс, в системы образования и обслуживания населения. Данная тенденция языковой поляризации общества, по нашим наблюдениям, неявно, но возрастает. Очевидно также, что достаточно резкая реакция казахоязычного сообщества на информационное давление внешних акторов, особенно в интернет-пространстве вносит излишнее напряжение в межэтнические отношения, углубляя языковые, этно- и социокультурные границы, излишне поляризуя мнения и ценностные ориентации граждан страны

Казахизация как процесс повышения роли казахского языка в символической, официальной и повседневной жизни воспринимается различными группами общества по-разному, о чем свидетельствуют данные массовых социологических опросов

По данным опроса 2020 года¹, подавляющее большинство респондентов разделяют мнение о том, что казахский язык и казахская культура способствуют объединению и сплочению всех казахстанских этнических групп – 75% комбинированных ответов «полностью согласен» или «частично согласен». Респондентов, частично не согласных – 8,8%, а тех, кто полностью не согласен – 6,5%.

По этническим группам значительный процент несогласных с этим положением наблюдался среди русской этнической группы – 22,7%. В среднем почти две трети опрошенных (в основном казахи – 72% и представители других этнических групп – 50%) считали, что интеграция различных этнических групп в Казахстане должна обязательно основываться на казахском языке и казахской культуре.

Две противоположные модели консолидации общества – надэтническая и казахская – получили примерно одинаковый уровень поддержки. Обе были почти в равной степени поддержаны казахами. Среди русских и представителей других этнических групп заметно больше было сторонников надэтнической модели.

¹ Социологический опрос был проведен в мае-июне 2020 г. Центром бизнес информации, социологических и маркетинговых исследований “BISAM – Central Asia” по заказу Института философии, политологии и религиоведения. География опроса – 14 областей, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент с выборкой, представляющей областные центры, малые города и поселки (аулы). Общая выборка – 1 800 респондентов, взрослое население республики (18+) – мужчины (48,6%) и женщины (51,4%). В разрезе этносов: казахи (66,4%), русские (21,2%), представители других этнических групп (12,4%).

В настоящее время все большее число граждан, особенно из числа этнических меньшинств, признают необходимость общей основы для консолидации нации в виде общей казахстанской культуры и необходимость знания государственного языка, но русские сомневаются больше всех.

Мониторинговые исследования выявили значительные различия между регионами страны, аулами, селами, малыми и большими городами в различных контекстах, в том числе и в связи с различными темпами казахизации. Например, в северных и восточных регионах, где доля казахов составляет около половины населения, а казахоязычных и того меньше, процессы казахизации коммуникативного пространства значительно отличаются от ситуации в моноэтническом западном регионе Казахстана и перенаселенном Юге, в котором также присутствует большое этническое разнообразие, но с значительным преобладанием казахского большинства.

В ходе исследований, выяснилось, что городской сегмент казахстанского социума, имеющий явную тенденцию к росту, в первую очередь, из-за стремительной урбанизации и казахизации населения страны, представляет собой особый феномен. Опрошенные граждане отмечают все большее проникновение в социальный облик и принципы взаимодействия новых горожан принципов меритократии, когда знание нескольких языков, местных обычаев предоставляет людям все больше явных преимуществ в сравнении с представителями замкнутых этнических общин. При этом проблематика этничности, как правило, перемещается на дальние позиции шкалы жизненных приоритетов. Особенно заметно, что в этих малых городах формируется новая городская более толерантная и в то же время более обезличенная среда:

Татарка, 56 лет, преподаватель ИЗО, г. Текели Жетысуская область:
Но надо сказать, что особенно предприниматели-кандасы из Китая, они уже и на русском многие говорят, жизнь их заставила.

Казашка – кандас, 46 лет, техничка Дома культуры, г. Текели Жетысуская область: (говорит на казахском) *Нет никаких конфликтов, и с языком тоже, хоть и по-русски я совсем не понимаю, как-то понимаем друг друга с помощью коллег, простых людей. Они помогают перевести с русского, конфликта из этого не делаем.*

В ходе групповых исследований в сообществах Юга Казахстана было засвидетельствовано множество позитивных свидетельств, в которых респонденты отмечали постоянное межэтническое взаимодействие, искреннюю дружбу и мирное соседство с иноязычным и иноэтническим окружением. Регулярно и повсеместно отмечалось все большее признание кандасов как «своих». Их практически повсеместно перестали называть «оралманами», о чем постоянно стали говорить сами кандасы. Люди роднятся, соседствуют дружно, в школах учителя говорят местным детям, чтобы относились к детям кандасов как к равным, как к родственникам. Местные жители признают их таланты и трудолюбие, ремесленные навыки и навыки

предпринимательства, сохранение ими культурно-исторической памяти, чистоту и богатство их языка. В сознание людей все больше проникает мысль, что интеграция приезжих – обоюдный процесс. С одной стороны, это овладение государственным языком, его совершенствование, более тесное знакомство с утерянными казахскими обычаями, культурой предков. С другой стороны, кандасы вбирают в себя обычаи и ценности местных жителей, приспосабливаются к особенностям местного менталитета, изучают языки, более тесно общаются с местными на уровне повседневности.

Азербайджанец, 70 лет, пенсионер, г. Кордай Жамбылской области: *Когда кандасы только приехали, они отличались от местных казахов. Были большие похожи на узбеков. А сейчас их уже действительно невозможно отличить от местных казахов. Теперь они хорошо с нами общаются, не как раньше... Когда умерла моя мама, они очень помогли нам, были рядом плечом к плечу.*

Казах, 73 год, пенсионер, г. Кордай Жамбылской области: *У нас живут кандасы. Их очень много. Раньше по их одежде, манере поведения и речи можно было сразу определить, что они приехали из-за границы. Сейчас их уже невозможно отличить от местных жителей.*

Мы, местные казахи, живем с кандасами дружно. Никаких недопониманий между нами нет. Я хочу сказать, что, хотя в первое время им было трудно, сейчас их положение значительно улучшилось. В первое время, если среди молодежи местная девушка выходила замуж за парня-кандаса, все очень удивлялись. Говорили: «Вышла замуж за оралмана», «Отдали дочь за оралмана». А сейчас все свободно общаются друг с другом, женятся, выходят замуж, создают семьи между собой.

Таким образом, формирующаяся новая городская идентичность с ее неписаными правилами и ценностями, активно формируется «снизу» в городских пространствах малых городов Юга страны.

Дискурс «снизу» – мнения казахстанских граждан

Урбанизированные пространства городских сообществ трансформируют идентичность малых и больших городов страны. В этих городских пространствах начинают все больше преобладать гражданские ценности и билингвальная среда, в которой граждане, недостаточно интегрированные в языковом и социальном плане, не могут составить конкуренцию тем, кто интегрирован в эту среду. Моноязычие и этногрупповая замкнутость вытесняет их носителей на периферию городских сообществ. Те, кто готовы меняться – принимать «правила игры» большого города – учить языки, опираться на меритократические ценности, когда ослабевают землячество и nepoтизм, интегрироваться в космополитическую среду больших городов, где этническая принадлежность играет все меньшую роль в борьбе за «место под солнцем», те начинают активно преуспевать и социализировать своих детей. Национальная идентичность все более склоняется к самоформированию на гражданских принципах.

Таким образом, в настоящий момент мы видим заметную дифференциацию и усложнение идентичностей, разнообразие и сложность которых должны изучать ученые, а не упрощать их, рассматривая этнополитические процессы через «этнические линзы» методологического национализма, в которых существуют застывшие раз и навсегда примордиалистские образы прежнего мира со строгими этническими границами. Тогда как социологический анализ формальных и неформальных дискурсивных практик показывает, что межгрупповая конкуренция и успешность социальных лифтов в городах строятся не столько по этническому признаку, как это кажется на первый взгляд, а по образу и механизмам новой формирующейся городской идентичности, с все более казахизирующей средой и знанием казахского языка:

Узбек, 42 года, таксист, г. Тараз Жамбылской области: *Думаю, в сравнении с нашими соседями, у нас воспитаннее и добрее люди. Мы не делим друг друга по национальности... У нас, если ты не казах, но знаешь казахский язык, ты лучше казах, не знающего свой язык.*

Русская, 37 лет, бухгалтер, г. Узын-Агаш Алматинской области: *У нас по национальности отбора на профессию нет. Если ты знаешь казахский ты можешь работать где угодно. Если русский знает казахский язык, то его все сразу поддерживают и относятся с уважением... Я и мой сын ходим на курсы казахского. Думаю, что рано или поздно все заговорят на казахском.*

«Казахскость – это один из самых важных моментов в категоризации. Он используется не только на местном локальном уровне, но и властью... Используя казахскость (во многом понимаемую с точки зрения эссенциализма) как ресурс для создания единой нации казахов, но во многом не учитывая сложный характер низовых категоризаций, власть провоцирует конфликтные ситуации» – считает российский антрополог из Томска Поправко И.Г., которая изучала интеграцию кандасов в ходе научно-этнографической экспедиции в Восточно-Казахстанскую область [10, с. 213-214]. Думается, что особенность примордиалистского (эссенциалистского) дискурса с его взглядом сквозь «этнические линзы» точно подмечена российской ученой еще и потому, что этот такой узнаваемый взгляд – наше общее постсоветское наследие, находящее подтверждение и в России, и в Южном Казахстане:

Казашка, 50 лет, специалист отдела внутренней политики акимата г. Текели Жетысуской области: *Были бытовые конфликты, но как-то было непонятно. Казалось, что все бытовые и хулиганские конфликты вышестоящие органы и правоохранители хотели выдать за межэтнический конфликт. Например, был у нас случай, подрались чеченец с корейцем и они говорят: «Вот – это межэтнический конфликт!» В протоколах полиция пишет национальности и с этого начинается раздувание. Вышестоящие органы требуют от нас: «Вот подрались чеченец и кореец, почему драка*

межэтническая? Впредь необходимо исключить такие случаи!» И мы приглашаем старейшин, пригласили и этих двух подравшихся на беседу. Оказалось, дети поругались во дворе, обидели девочку, она заплаканная пришла домой и пожаловалась, что дети ее обижают. Ее отец вышел во двор и наехал на маленьких детей и с другой стороны отец выскочил. Конфликт возник уже между взрослыми, и они подрались. Но при чем тут национальность? Чисто бытовой конфликт, а из него через протокол полиции сделали межэтнический конфликт, который попал в соцсети. Я спросила участкового: «Почему вы пишете национальность, это же все наши граждане?» А он говорит: «Из области так требуют, указывать нацию правонарушителя».

Уйгурка, 50 лет, домохозяйка, аул Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области: *Думаю, что есть разногласия, потому что среди молодежи есть активные хулиганы. Даже если немного подрались, то это будет считаться межнациональным конфликтом. Такой оценки не должно быть!*

Русская, 67 лет, председатель славянского этнокультурного центра, г. Кордай Жамбылской области: *И раньше, во времена нашей молодости, случались столкновения между молодыми людьми. Но никогда мы не придавали этому статус межэтнической вражды. Это всегда было на бытовом уровне. Почему-то у нас сейчас, если только встретились, допустим, два парня одной национальности и другой, посмотрели друг на друга косо, все! Это уже считается межэтническим разногласием.*

Дунганин, 45 лет, учитель средней школы, г. Кордай Жамбылской области: *Раньше, когда подрались, поругались, на это никто не обращал внимания. Бытовуха была всегда. Сейчас, если поругался, сразу акцентируют внимание на национальности. Первое – это кто с кем подрался? Почему сразу акцент на этом? Я этого не понимаю. Раньше такого не было, мы не делили. Это мое мнение: чем больше мы на это обращаем внимание, тем больше разделение в обществе. Как будто мы это везде ищем и ждем, когда у нас будет межнациональный конфликт. Во всем мы его ищем. Зачем так? Это вообще неправильно. Я так думаю.*

Самое важное на наш взгляд, что движение к гражданской нации очень сильно замедляется взглядом многих граждан и представителей властей на социальные отношения через этнические линзы и их этноцентрированным сознанием. В сознании не только простых людей, но что важно в сознании начальства не произошло сдвига в сторону «гражданского» взгляда.

Рассмотрение социально-политических и межкультурных процессов сквозь этнические линзы – это наследие советской идеологии, которая рассматривала все социальные, политические и культурные вопросы через этническую призму. В казахстанском обществе до сих пор с большой опаской и подозрением относятся к специфическим терминам из сферы Political science, без которых невозможно обойтись при исследовании процессов формирования национальной идентичности – национализация, казахизация,

русификация, национализм, шовинизм. В остальном мире содержание этих терминов сопряжено с нейтральными коннотациями, тем более в политической теории (Political science) и прикладных исследованиях, в которых они носят инструментальный характер.

Понятно, что это наследие советских времен, когда ко всем процессам в научном и общественном дискурсах был этнический подход. Вплоть до середины 90-х гг. в Казахстане политологии как науки не существовало. Ее заменяла теория научного коммунизма, придавая этим терминам зловещие коннотации, глубоко засевшие в сознании граждан еще со времен «красного террора» и репрессий 30-х гг.

И в настоящее время сила инерции заставляет большинство граждан, смотреть на процессы в обществе через этнические линзы. Начиная с того, что национальность до сих пор тождественна понятию этнос и заканчивая тем, что этническая принадлежность никогда не имела ничего общего с гражданством. Вслух этническая принадлежность практически не озвучивалась, а на практике велся скурпулезный учет национальных кадров во всех ВУЗах и делопроизводствах всех учреждений СССР, вплоть до записей в школьных журналах о том сколько учащихся относится к титульной и нетитульной национальностям (этносу). Большинство респондентов старшего поколения во всех наших ФГД упоминают о том, что ранее никто не делился по национальности, так как в общественно-политическом дискурсе озвучивать этническую принадлежность можно было только в отдельных случаях. К примеру, когда дело касалось взаимопомощи, совместных ратных и трудовых подвигов, пропаганды общих идеологических целей по сближению наций. Отрицательные примеры, связанные с официальным упоминанием действующих лиц связанных с негативными событиями – конфликтами, гражданскими и уголовными делами, ни в коем случае не предполагали упоминания этнической принадлежности, поскольку «это в корне противоречило» принципам советского общежития и интернационализма.

Уйгурка, 69 лет, пенсионерка, председатель уйгурского ЭКО г. Конаев Алматинской области: *Нам советскому поколению людей вообще-то невозможно было рассуждать на межэтническую тему, например, унижать другую нацию или требовать от нее что-то, придирались к другим нациям. Мы все жили в дружественной стране. У нас не было наций. Мы учились в русской школе – казахи, русские, немцы, уйгуры и мы не знали какой нации кто, все было хорошо.*

Интервьюер: *Но это было раньше, а сейчас разве не другое время?*

Чеченец, 58 лет, менеджер по туризму, г. Конаев Алматинской области: *Это потому, что в то время не было демократии, свободы слова. Все были как будто бы равные и казалось, как будто бы было все хорошо. Но это было напоказ, а внутри, не напоказ, различия оставались.*

Логика процесса нациестроительства требует изучения межкультурных и внутрикультурных границ в казахстанском социуме в контексте казахизации коммуникативного пространства, но замалчивание различий и акцент только на объединяющих моментах тормозит научные исследования. Необходим баланс в подходе, который поможет увидеть наиболее слабые места, на которые должны быть направлены усилия государства по трансформации управленческой методологии и совершенствованию институциональной этнополитики, в первую очередь образовательной.

Заключение

Сегодня этнодемографическая ситуация существенно отличается от ситуации двадцатилетней давности и практики этнических меньшинств, по-прежнему, в большинстве своем формируются в атмосфере ситуативной идентификации. Все более актуализируется вопрос детального изучения миграционных процессов, которые после «целинных» 50-х гг. и «лихих» 90-х гг., казалось бы, были достаточно далеки от первостепенных проблем Казахстана. Из открытых источников становится ясно, что поток так называемых релокантов увеличивается. В первом полугодии 2026 года впервые за много лет Казахстан зафиксировал положительное миграционное сальдо с Россией [11].

Все настойчивей и не впервые звучат предложения Европарламента, пока в виде информационных вбросов, о переселении в Казахстан и в Узбекистан мигрантов, не прошедших сита отбора для получения возможности оседания в Европе. Евросоюз рассматривает Казахстан и Узбекистан в числе 8-10 стран для создания центров депортации мигрантов, получивших отказ в убежище, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов [12].

Ситуативные идентификационные практики этнических групп ясно сигнализируют государству о том, что для них в процессе интеграции на основе государственного языка крайне важно сохранение этнических языков и локальных культур, обеспечение равных возможностей и соблюдение принципов равной правовой ответственности всех граждан. Этнические группы Казахстана чувствуют себя более комфортно в условиях доминирования дискурса «казахстанской идентичности» и «казахстанской нации». Но как показывают социологические исследования, прежде всего, под мягким давлением этнодемографических и социально-культурных факторов казахизации, этносы Казахстана все больше склоняются к признанию необходимости постепенной реализации главного интеграционного постулата этнополитики, которым, по мнению правительства и половины опрошенных представителей «других этнических групп», может стать стабилизирующая роль государственного языка и общей казахстанской культуры.

По мере распространения процесса казахизации коммуникационного пространства возникают противоречия, связанные не просто с формальным статусом государственного языка, а с его реальным положением как языка межэтнического общения, каковым он пока повсеместно не стал. В южных областях с преобладающим казахоязычным населением государственный

язык практически становится таковым. Мнения представителей этнических групп, зафиксированные нами в ходе социологических опросов в рамках нашего проекта «Мониторинг межэтнических отношений в южных областях Казахстана» красноречиво свидетельствуют об этом.

Изучение процессов институционализации взаимодействия и достижения все большего взаимопонимания русскоязычной и казахоязычной идентичностей требует дальнейшего детального исследования. Но исследования межкультурных и межэтнических дистанций и границ, интроспективных принципов социального включения/исключения этнических групп в социумное пространство титульного большинства казахоязычных пока не особенно приветствуются в официальном дискурсе, поскольку считается, что это может внести разлад в единство и согласие казахстанцев.

На практике дистанция между государственным дискурсом казахизации и общественным дискурсом «снизу» представляет пока достаточно большой разрыв, над сближением границ которых необходимо работать. Государство и гражданское общество должны совместно трудиться над изобретением новых общегражданских традиций, учитывая сложность и дифференцированность современных идентичностей.

Список использованных источников:

1 Эшмент Б. «Единство в многообразии» – лозунг или реальность // Этносоциальные процессы в Республике Казахстан. Сборник научных трудов. – Алматы: ИФПР КН МНВО РК, 2023. Часть 4. С. 230-240.

2 Кадыржанов Р.К. Этнокультурный символизм и национальная идентичность Казахстана. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.

3 См.: Брубейкер, Р. Этничность без групп – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.

4 Lecture by Dr. Marlene Laruelle *Kazakhstan's Nationhood: Politics and Society on the Move* at the Center for Eurasian, Russian and East European Studies (CERES), Georgetown University (February 08, 2018). – <https://voicesoncentralasia.org/kazakhstans-nationhood-politics-and-society-on-the-move/>

5 Почему в Казахстане остро встал вопрос о национальном языке. *Настоящее время*. 20 августа 2021 г. – <https://www.currenttime.tv/a/31419021.html>

6 Ильяс Бахыт. «Говорите на русском языке»: женщину оштрафовали за скандал в супермаркете в Алматы. *Ulysmedia*. 20.06.2026 – <https://ulysmedia.kz/news/75604-govorite-na-russkom-iazyke-zhenshchinu-oshtrafovali-za-skandal-v-supermarkete-v-almaty/>

7 Юлия Шульц. Любые вывески на латинице временно запретили в Казахстане. *Kz.kursiv.media*. 19 августа 2026 г. – <https://kz.kursiv.media/2026-08-19/shlc-lyubye-vyveski-na-latinicze-vremenno-zapretili-v-kazahstane/>

8 Хизат А. Репатрианты и городское пространство Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 5 (37). – С. 61-64.

9 См.: Alexander C. Diener. Kazakhstan's Kin State Diaspora: Settlement Planning and the Oralman Dilemma. *Europe-Asia Studies*, 2005, Vol. 57, No. 2, pp. 327-348.

10 Поправко И.Г. Чужие среди своих: репатрианты, аутентичность и повседневные границы в Восточном Казахстане. Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2014. Т.10. С. 206-216.

11 Анджела Кубашева. Казахстан стал привлекательнее для мигрантов: откуда чаще всего приезжают. *24.kz*. 17.08.2026. Источник: <https://24.kz/ru/news/social/786172-kazakhstan-stal-privlekatelnee-dlya-migrantov-otkuda-chashche-vsego-priezzhayut>

12 ЕС может создать центры высылки в Казахстане и Узбекистане // *Deutsche Welle*. 1 июня 2026 г. – <https://www.dw.com/ru/politico-es-mozet-sozdat-centry-vysylki-v-kazahstane-i-uzbekistane/a-77379286> Дата обращения 30.09.2026

Қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы әлеуметтік-мәдени шекаралар: тіл, күнделікті қарым-қатынас және өзара мойындау мәселелері*

Шакеева Ботакөз Рахымбекқызы

Этникалық репатрианттарды қабылдаушы елдерге интеграциялау мәселесі көптеген мемлекеттердің көші-қон саясатының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Этникалық қауымдастықтардың тарихи Отанына оралуы бір жағынан, қабылдаушы елдер үшін жаңа мүмкіндіктер ашса, екінші жағынан, әлеуметтік, мәдени және экономикалық бейімделу үдерістеріне байланысты елеулі қиындықтар туындатады. Мемлекеттік құрылымдар тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға қарамастан, қандастардың әлеуметтік ортаға бейімделуінде, еңбек нарығына кіруінде, білім мен денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуде, сондай-ақ мәдени ортаға сіңісуінде түрлі кедергілер кездесуде. Бұл мәселе репатриация саясатын белсенді жүргізіп отырған Қазақстан үшін де маңызды.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы тарихтың сан алуан кезеңінде көршілес елдерде қалған қандастарымыздың отанына жаппай оралуына жол ашты. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 1991 жылдан 2020 жыл аралығында 1 017 602 қандас елімізге оралды, соның ішінде 2009 жылдан 2020 аралығында елге келгендер саны 283 084 адам санын құрайды. Тарихи отанына оралудағы басты мақсат отбасымен, туған-туыстарымен қауышу және өмір сүру деңгейі жоғары елге көшіп келу болып табылады [1].

Алғашқы жылдары шетелдерден келген этникалық қазақтарды (репатрианттар) жергілікті халық арасында «оралман» деп атау жиі кездесті. Мағынасы жағынан өз отанына оралып келгендер дегенді білдіреді. Кейінірек бұл атаудың жағымсыз тұстары болуы себепті «қандас» деген атауға алмастыру туралы ұсыныс түсті. 2020 жылы 13 мамырда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев көші-қон үрдістерін реттеу мәселелері бойынша заңға қол қойды [2]. Осы заңның баптарына сәйкес «оралман» сөзінен бас тартып, оның орнына тарихи отанына қайтқан этникалық қазақтарға «қандас» мәртебесі берілді.

Алайда қандастардың тарихи Отанына оралуы олардың Қазақстан қоғамына бірден толық бейімделуін білдірмейді. Осы тұрғыдан алғанда, қандастардың интеграциясын тек мемлекеттік қолдау шаралары, азаматтық алу, тұрғын үймен немесе жұмыспен қамтамасыз ету мәселелері арқылы қарастыру жеткіліксіз. Интеграцияның маңызды құрамдас бөлігі ретінде қандастардың күнделікті өмірде жергілікті тұрғындармен қарым-қатынасы, әлеуметтік байланыстар қалыптастыруын қарастыруға болады.

Этникалық тұрғыдан алғанда, қандастар мен Қазақстанда тұратын жергілікті қазақтар бір ұлттық қауымдастықтың мүшелері болып табылады.

* Бұл мақала ҚР ҒЖБМ ҒК қаржыландыратын AP23489872 «Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі этносаралық қатынастардың мониторингі» атты гранттық ғылыми зерттеу жобасы шеңберінде дайындалды.

Алайда олардың тарихи, әлеуметтік және мәдени тәжірибелерінің айырмашылығы күнделікті қарым-қатынас барысында белгілі бір әлеуметтік-мәдени шекаралардың қалыптасуына алып келуі мүмкін. Әсіресе тілдік ерекшеліктер, тұрмыстық мінез-құлық нормалары, дәстүрлерді түсіну, діни және мәдени тәжірибелер, сондай-ақ адамның шыққан елі мен қоныстанған ортасы әлеуметтік өзара әрекетке ықпал етеді.

Бұл жерде ерекше назар аударатын мәселе «қандас» ұғымының тек этникалық емес, әлеуметтік категория ретінде де қалыптасуы болып табылады. Яғни қандас пен жергілікті қазақ арасындағы айырмашылық «қазақ – қазақ емес» деген этникалық бөлініске негізделмейді. Керісінше, күнделікті өмірде «жергілікті» және «келген» деген әлеуметтік айырмашылықтың маңызы артуы мүмкін. Мұндай жағдайда этникалық ортақтық сақталғанымен, әлеуметтік тәжірибе мен мәдени нормалардың айырмашылығы «өз» және «өзге» ұғымдарының жаңа шекараларын қалыптастырады.

Осыған байланысты қандастардың интеграциясын зерттеу барысында тек олардың қабылдаушы қоғамға қаншалықты бейімделгенін емес, жергілікті қоғамның қандастарды қаншалықты қабылдайтынын және мойындайтынын да қарастыру маңызды. Басқаша айтқанда, интеграция біржақты бейімделу үдерісі емес, екі тараптың да әлеуметтік өзара әрекеті нәтижесінде қалыптасатын үдеріс ретінде қарастырылуы тиіс.

Осы мәселені түсіндіруде әлеуметтік мойындау теориясын негізге алуға болады. А. Хоннеттің мойындау теориясына сәйкес, адамның қоғамға толыққанды енуі тек оның құқықтық мәртебесімен шектелмейді [3]. Мойындау эмоционалдық, құқықтық және әлеуметтік-мәдени деңгейлерде жүзеге асады. Осы тұрғыдан алғанда, қандастың Қазақстан азаматы ретінде құқықтық мойындалуы оның жергілікті әлеуметтік ортада толық қабылдануына автоматты түрде кепілдік бермейді. Қоғамдық мойындаудың болмауы әлеуметтік оқшаулануға, «біз» және «олар» арасындағы шекаралардың сақталуына және интеграциялық сезімінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін.

Мақсат. Осы зерттеудің мақсаты – қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы әлеуметтік-мәдени шекаралардың қалыптасу ерекшеліктерін анықтау және олардың күнделікті қарым-қатынаста, тілдік өзара әрекетте және бір-бірін әлеуметтік мойындау үдерісінде қалай көрініс табатынын талдау.

Зерттеу барысында қандастардың ғана емес, жергілікті тұрғындардың да пікірлеріне назар аударылды. Бұл тәсіл интеграцияны екіжақты үдеріс ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеудің эмпирикалық негізін «Қазақстандық қоғамға қандастарды интеграциялаудың идентификациялық аспектілері» атты ғылыми зерттеу жобасы аясында 2023–2025 жылдары Қазақстанның Алматы облысы Есік қаласы, Шығыс Қазақстан облысындағы Шығыс ауылы және Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеевка елді мекенінде жүргізілген қандастармен нарративтік-биографиялық сұхбаттар және ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтында орындалатын «Қазақстанның оңтүстік

облыстарындағы этносаралық қарым қатынастың мониторингі» (2024-2026 жж.) ғылыми зерттеу жобасы аясында 2026 жылы Текелі, Қонаев және Келес ауданында өткізілген фокус-топтық зерттеулер құрайды.

Зерттеуде сапалық әдіснама қолданылып, респонденттердің күнделікті тәжірибесіне, әлеуметтік байланыстарына, тілдік қарым-қатынасына және жергілікті тұрғындармен өзара әрекетіне ерекше назар аударылды. Фокус-топ материалдары қандастардың өз ұстанымдарымен қатар жергілікті тұрғындардың қандастар туралы түсініктерін салыстырып талдауға мүмкіндік береді.

Қандастар мен жергілікті қазақтар: әлеуметтік-мәдени айырмашылық. Зерттеу барысында жүргізілген сұхбаттар мен фокус-топтық талқылаулар қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы өзара қарым-қатынастың біркелкі емес екенін көрсетті. Бір жағынан, ортақ этникалық және тілдік жақындық екі топтың өзара байланысын жеңілдететін маңызды фактор болып табылады. Екінші жағынан, әртүрлі тарихи, әлеуметтік және мәдени ортада қалыптасқан тәжірибелер күнделікті қарым-қатынаста белгілі бір айырмашылықтардың пайда болуына ықпал етеді. Бұл айырмашылықтар әсіресе тұрмыстық мінез-құлық, қоғамдық ортадағы өзін-өзі ұстау, тілдік қарым-қатынас және жергілікті әлеуметтік нормаларды қабылдау мәселелерінен байқалады.

Мысалы, Қонаев қаласында жүргізілген фокус-топ барысында респонденттер қандастар мен жергілікті қазақтар арасында белгілі бір тұрмыстық түсініспеушіліктер кездесетінін атап өтті. Бір респондент мұндай жағдайлардың тілдік айырмашылыққа байланысты емес екенін, керісінше, қандастардың жергілікті ортаға бейімделуімен және қоғамдық мінез-құлық нормаларымен байланысты екенін айтты. Оның пікірінше, кейбір қандастар Қазақстанға келгеннен кейін өздерін жергілікті қоғамның қалыптасқан нормаларына бейімдеуден гөрі, өздері үйренген мінез-құлық үлгілерін сақтауға тырысады. Респондент бұл жағдайды «жергілікті» және «келген» қазақтар арасындағы айырмашылық ретінде сипаттайды:

«...Тілдік кедергі бар деп ойламаймын. Олар қазақ тілін өте жақсы меңгерген. Түсініспеушіліктер көбіне қандастардың өз көзқарастары мен әдеттерін бірден алға тартуынан туындап жатады... Жергілікті тұрмыстық ортаға бейімделуге уақыт пен ықылас жетіспейтін сияқты, ұсақ түсініспеушіліктердің көбі осыдан шығады...»

Қонаев қ., қазақ, әйел адам, 67 жаста

Бұл пікірді этникалық қақтығыс ретінде түсіндіру дұрыс болмас еді. Себебі екі тарап та бір этникалық қауымдастыққа жататынына қарамастан, олардың әлеуметтік тәжірибесі мен күнделікті өмір нормалары әртүрлі болуы мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда, қандастардың Қазақстанға қоныс аударуы тек этникалық отанына қайта оралу емес, сонымен қатар басқа әлеуметтік ортаға ену үдерісі болып табылады. Тарихи Отан ортақ болғанымен, өмір сүрген әлеуметтік орта әртүрлі болған жағдайда, «қазақылықты» түсіну мен

күнделікті тәжірибеде жүзеге асырудың да өзіндік ерекшеліктері қалыптасады.

Сонымен қатар, Қонаевтағы респонденттердің бірі ұсақ жанжалдардың барлығын этносаралық сипаттағы қақтығыс ретінде қарастыруға болмайтынын атап көрсетеді. Оның пікірінше, мұндай жағдайлардың басым бөлігі «жергілікті тұрғындар мен келгендер» арасындағы түсініспеушіліктермен байланысты. Бұл тұжырым қандастар мәселесін зерттеуде «этникалық айырмашылық» ұғымымен қатар әлеуметтік мобильділік, қоныс аудару және жергілікті ортаға бейімделу факторларын да ескеру қажеттігін көрсетеді.

Осыған ұқсас пікірлер Текелі қаласында жүргізілген зерттеу материалдарынан да байқалады. Респонденттер соңғы жылдары жастар арасында түрлі этникалық топтар арасындағы қарым-қатынастың салыстырмалы түрде қалыпты екенін атап өткен. Сонымен бірге кейбір қатысушылар жергілікті тұрғындар мен сырттан келген адамдар арасындағы айырмашылықтың күнделікті өмірде сезілетінін айтқан. Бұл жерде де айырмашылықтың негізі міндетті түрде этникалық тиістілік емес, адамның жергілікті әлеуметтік ортаға қаншалықты сіңісіп кеткенімен байланыстырылады.

«Бізде мұнда жалпы интернационал, жастар өте тату тұрады, ұлтқа бөлу деген атымен жоқ. Жалпы, бұл айырмашылық тек біздің өмір сүру салтымызға әлі бой үйрете қоймаған сырттан келгендер (жергілікті еместер) келгенде ғана сезіледі...»

Текелі қ., қазақ, әйел адам, 42 жаста

Осылайша, қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы әлеуметтік шекара этникалық бөліністің классикалық үлгісіне сәйкес келмейді. Бұл жағдайда «қазақ – қазақ емес» деген шекарадан гөрі «жергілікті – келген» деген әлеуметтік айырмашылықтың маңызы артуы мүмкін. Мұндай шекара адамның қай елден келгеніне, қанша уақыт Қазақстанда тұрғанына, жергілікті әлеуметтік ортаға қаншалықты бейімделгеніне және қоғамда қабылданған мінез-құлық нормаларын қаншалықты меңгергеніне байланысты қалыптасады.

Алайда бұл айырмашылықтардың барлығы міндетті түрде әлеуметтік шиеленіске алып келмейді. Керісінше, кейбір жағдайларда күнделікті өзара әрекет екі тараптың да бір-біріне бейімделуіне мүмкіндік береді. Бұл әсіресе тілдік қарым-қатынас мысалынан анық байқалады.

Тілдік қарым-қатынас және өзара бейімделу. Қандастар мен жергілікті тұрғындардың өзара қарым-қатынасында тіл мәселесі ерекше орын алады. Қандастардың бір бөлігі қазақ тілін негізгі немесе жалғыз қарым-қатынас тілі ретінде қолданса, Қазақстанның кейбір өңірлеріндегі жергілікті тұрғындар күнделікті өмірде қазақ және орыс тілдерін қатар пайдаланады. Сондықтан қандастардың тілдік тәжірибесі жергілікті тұрғындардың тілдік мінез-құлқына да әсер етуі мүмкін.

Текелі қаласында жүргізілген фокус-топта мұндай өзара ықпалдың нақты мысалы анықталды. Респонденттердің бірі жұмыс орнында бірнеше қандастың пайда болғанын және олардың арасында тек қазақ тілінде сөйлейтін жас жігіт болғанын айтты. Оның айтуынша, бұл жағдай өзі үшін қазақ тілін жетілдіруге түрткі болған. Кейін ол құжаттарды да қазақ тілінде жазуға көшкенін атап өтті.

«Жұмысқа 5-6 қандас келгендіктен, маған мемлекеттік тілді үйренуге тура келді. Олардың ішінде бір жігіт тек қазақша ғана сөйлейді. Тілді жетілдіруге мәжбүр болдым, қазір бәрі жақсы, еш қиындықсыз сөйлесе береміз... Сол қандас жігіт орысша сөйлегісі келмейді. Мені қазақ тілін үйренуге итермелеген де дәл сол жігіт болды. Қазір қажет болса, құжаттарды да қазақша толтыра беремін, үйреніп алдым».

Текелі қ., қазақ, әйел адам, 42 жаста

Бұл мысал қандастардың тілдік бейімделуін тек қабылдаушы қоғамның талаптарына жауап ретінде қарастырудың жеткіліксіз екенін көрсетеді. Керісінше, қандастардың Қазақстанға келуі жергілікті тұрғындардың да тілдік тәжірибесіне әсер етуі мүмкін. Яғни интеграция барысында тек қандастар ғана өзгермейді, қабылдаушы әлеуметтік орта да белгілі бір деңгейде өзгереді.

Осы тұрғыдан алғанда, тіл әлеуметтік-мәдени шекара қалыптастыратын фактор ғана емес, сол шекараны азайтудың құралы ретінде де көрінеді. Қандас пен жергілікті тұрғын арасында ортақ тілдік кеңістік қалыптасқан жағдайда күнделікті қарым-қатынас жеңілдеп, өзара түсіністік арта түседі. Бұл ретте қазақ тілінің ортақ коммуникациялық кеңістік қалыптастырудағы рөлі ерекше.

Алайда тілдік айырмашылықтарды автоматты түрде конфликт факторы ретінде қарастыруға болмайды. Текелі фокус-тобында респонденттер тілдік түсініспеушіліктердің болғанымен, олардың міндетті түрде жанжалға ұласпайтынын атап өтті. Кейбір жағдайларда адамдар бір-біріне аударма жасау, түсіндіру және өзара көмектесу арқылы коммуникациялық кедергілерді жеңетінін көрсетті.

Бұл жағдай интеграцияның маңызды ерекшелігін көрсетеді. Себебі әлеуметтік бейімделу әрқашан бір тараптың екінші тарапқа толық бейімделуін білдірмейді. Керісінше, күнделікті қарым-қатынаста екі тарап та өзара түсіністікке жету үшін белгілі бір өзгерістерге барады.

Өзара мойындау және қазақ қоғамындағы әлеуметтік шекаралар: қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы өзара қатынастар. Қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы әлеуметтік-мәдени шекараларды тек тілдік немесе тұрмыстық айырмашылықтар арқылы түсіндіру жеткіліксіз. Бұл айырмашылықтардың негізінде екі тараптың да бір-бірін қабылдауы мен бағалауы, сондай-ақ «қазақ болу» ұғымына қатысты түсініктері жатыр. Қандастардың тарихи Отанына оралуы олардың ұлттық бірегейлігін қайта құрудың маңызды кезеңі болғанымен, олардың қазақ қоғамына енуі барысында жергілікті тұрғындардың оларды қалай қабылдайтыны да ерекше маңызға ие.

Зерттеу барысында қандастардың өздерінің де жергілікті қазақтарға қатысты белгілі бір бағалаулары бар екені байқалды. Әсіресе Қазақстанға Қытай, Иран және басқа да посткеңестік емес елдерден келген қандастардың кейбірі жергілікті қазақтардың мәдени және дәстүрлік тәжірибелерін өздері ұстанатын нормалармен салыстырады. Бұған дейін жүргізілген нарративтік сұхбаттарда кейбір респонденттер жергілікті қазақтардың орыс тілін көбірек қолданатынын, сондай-ақ қазақтың дәстүрлі мәдениетінің жекелеген элементтерінен алыстағанын атап өткен. Мәселен, Ираннан келген респондент жергілікті қазақтардың дәстүрлі салттарды өздері күткендей деңгейде сақтамайтынын айтқан:

«Жергілікті қазақтар орысша сөйлеп қана қоймай, өздерін орыстар сияқты ұстайды. Жаназада бәрі біз үйренгендей жасалмайтынын байқадым. Қазақ дәстүрі бойынша бұлай етуге мүлдем болмайды!»

Ираннан келген қандас, әйел адам, 35 жаста

Бұл жағдай қызықты парадоксты көрсетеді. Бір жағынан, жергілікті қазақтар қандастардың Қазақстан қоғамына бейімделуін күтеді. Екінші жағынан, қандастардың кейбірі өздерінің дәстүрлі мәдени тәжірибесін «шынайы қазақылықтың» өлшемі ретінде қабылдап, жергілікті қазақтарды бағалайды. Демек, «кім кімге бейімделуі керек?» деген мәселе біржақты емес.

Осы тұрғыдан алғанда, қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы әлеуметтік-мәдени шекаралар тек қандастардың «басқа» мәдени ортадан келуі нәтижесінде қалыптаспайды. Керісінше, екі тарап та бір-бірінің қазақтық тәжірибесін бағалау арқылы өздерінің ұлттық бірегейлігін айқындайды. Қандастар үшін Қазақстандағы қазақ қоғамы өздерінің тарихи Отаны туралы елестетулермен салыстырылатын әлеуметтік ортаға айналса, жергілікті қазақтар үшін қандастардың мәдени тәжірибесі «шетелде сақталған қазақылықтың» өзіндік көрінісі ретінде қабылдануы мүмкін.

Бұл жерде өзара мойындау ұғымы ерекше мәнге ие. А. Хоннеттің мойындау теориясы тұрғысынан алғанда, адамның қоғамға толыққанды тиесілі болуы оның тек құқықтық мәртебесімен анықталмайды. Ол сонымен бірге әлеуметтік орта тарапынан қабылдануды, өзінің құндылығы мен ерекшелігінің мойындалуын қажет етеді. Қандастар жағдайында бұл мәселе ерекше сипатқа ие. Мемлекет оларды тарихи Отанына оралған этникалық қазақтар ретінде құқықтық тұрғыдан мойындағанымен, күнделікті өмірдегі әлеуметтік мойындау әрдайым автоматты түрде қалыптаспайды.

Сондықтан қандастардың интеграциясын «қазақ қоғамына бейімделу» ұғымымен ғана сипаттау жеткіліксіз. Бұл үдеріс екіжақты болуы тиіс. Қандастар жергілікті әлеуметтік нормаларды меңгеріп, жаңа ортаға бейімделсе, жергілікті қоғам да олардың тарихи, мәдени және әлеуметтік тәжірибесін қабылдауға дайын болуы қажет. Мұндай өзара мойындау болмаған жағдайда этникалық ортақтыққа қарамастан, «жергілікті» және «келген» деген әлеуметтік жіктелу сақталуы мүмкін.

Осыған байланысты қандастардың интеграциясы Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің мазмұнына қатысты кеңірек мәселені де көтереді. Қазақстан қоғамында «қазақ» болу тек ортақ этникалық шығу тегіне ғана емес, тілге, мәдениетке, дәстүрге, тарихи жадыға және күнделікті әлеуметтік тәжірибеге байланысты әртүрлі түсіндірілуі мүмкін. Қандастардың келуі осы айырмашылықтарды айқынырақ көрсетіп, қазақы бірегейліктің мазмұны туралы пікірталасқа жаңа өлшем қосады.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері қандастардың Қазақстан қоғамына интеграциялану үдерісінің көпқырлы сипатқа ие екенін көрсетті. Қандастардың тарихи Отанына оралуы олардың этникалық тұрғыдан қазақ қоғамына жақындығын қамтамасыз еткенімен, бұл фактор олардың әлеуметтік және мәдени ортаға толық енуіне өздігінен кепілдік бермейді. Күнделікті қарым-қатынас барысында тілдік ерекшеліктер, өмір сүру тәжірибесі, дәстүрлерді түсіну және қоғамдық мінез-құлық нормаларына қатысты айырмашылықтар белгілі бір әлеуметтік-мәдени шекаралардың қалыптасуына әсер етеді.

Зерттеу барысында бұл шекаралардың барлық жағдайда қактығысқа әкелмейтіні анықталды. Керісінше, күнделікті өзара қарым-қатынас барысында жергілікті тұрғындар мен қандастар бір-біріне бейімделіп, ортақ әлеуметтік кеңістік қалыптастыра алады. Әсіресе тілдік қарым-қатынас бұл үдерісте маңызды рөл атқарады. Кейбір жағдайларда қандастардың қазақ тілін белсенді қолдануы жергілікті тұрғындардың да мемлекеттік тілді қолдануына және жетілдіруіне ықпал ететіні байқалды. Осылайша, қандастар тек қабылдаушы қоғамға бейімделуші тарап ғана емес, сонымен бірге жергілікті әлеуметтік ортаның өзгеруіне ықпал ететін әлеуметтік субъект ретінде де көрінеді.

Сонымен бірге зерттеу нәтижелері «қандас» ұғымының этникалық категориямен ғана шектелмейтінін көрсетті. Күнделікті өмірде «жергілікті» және «келген» деген әлеуметтік айырмашылықтар қалыптасуы мүмкін. Мұндай жағдайда ортақ этникалық тиістілікке қарамастан, екі топтың әлеуметтік тәжірибесі мен мәдени түсініктері бір-бірінен ерекшеленеді. Сондықтан қандастардың интеграциясын тек олардың жергілікті қоғамға бейімделуі тұрғысынан қарастыру жеткіліксіз. Бұл үдерісте қабылдаушы қоғамның да қандастардың тәжірибесін қабылдауы және оларды толыққанды әлеуметтік қауымдастық мүшелері ретінде мойындауы маңызды.

Қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы өзара қарым-қатынасты талдау «қазақ болу» ұғымының да біркелкі емес екенін көрсетті. Әртүрлі тарихи және мәдени ортада өмір сүрген қазақтардың ұлттық бірегейлікке, дәстүрге, тілге және күнделікті өмір салтына қатысты түсініктерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Осы айырмашылықтар кей жағдайда бір тараптың екінші тарапты бағалауына алып келеді. Сондықтан әлеуметтік мойындау тек қабылдаушы қоғамның қандастарға қатынасын ғана емес, қандастардың да жергілікті қазақ қоғамын қабылдауын қамтитын екіжақты үдеріс ретінде қарастырылуы тиіс.

Осыған байланысты қандастардың Қазақстан қоғамына табысты интеграциялануы тек мемлекеттік қолдау шараларын жетілдірумен шектелмеуі қажет. Құқықтық және институционалдық қолдаумен қатар, күнделікті қарым-қатынасқа, тілдік өзара әрекетке, әлеуметтік байланыстарды қалыптастыруға және өзара мойындауға негізделген ортақ әлеуметтік кеңістікті дамыту маңызды. Қандастардың интеграциясы бір тараптың екінші тарапқа бейімделуі емес, ортақ қоғам жағдайында екі тараптың да бір-бірін түсінуі, қабылдауы және өзара өзгеруі арқылы қалыптасатын үдеріс ретінде қарастырылған жағдайда ғана тұрақты сипатқа ие болады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. К вопросу о положении репатриантов в Казахстане. <https://iaer.kz/ru/item/122-k-voprosu-o-polozenii-repatriantov-v-kazahstane> (Қаралған күн: 14.08.2026).
2. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов». 13 мая 2020 года. https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/laws/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmenenii-i-dopolnenii-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahsta-247 (Қаралған күн: 14.08.2026).
3. Honneth A. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge, MA : MIT Press, 1996. – 215 p.

АВТОРЫ СБОРНИКА

Andrew Farmer – PhD, Associate Fellow, Institute for European Environmental Policy, London, England (UK) – Farmerandrewaw@hotmail.com

Анджей Вежбицки – заведующий кафедрой восточных исследований Варшавского Университета, доктор политических наук, профессор, г. Варшава (Польша) – awierzbicki@uw.edu.pl

Айтымбетов Нүркен Ысқақұлы – ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының жетекші ғылыми қызметкері, PhD, Алматы қ. (Қазақстан) – nurken.aitymbetov@gmail.com

Болганбаева Шолпан Дуйсенбековна – старший преподаватель Шымкентского регионального инновационного университета, магистр социальных наук, г. Шымкент (Казахстан) – bsholpan69@list.ru

Damira Sikhimbayeva – Senior Researcher, PhD, Institute for Philosophy, Political Science and Religious Studies, Almaty, Kazakhstan – alpesh8302@gmail.com

Додонов Вячеслав Юрьевич – главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, доктор экономических наук, г. Алматы (Казахстан) – dodonovv@mail.ru

Larisa Kangaspuro – Researcher, PhD, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland – larisa.kangaspuro@helsinki.fi

Мамедова Парида Иманжановна – научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, кандидат философских наук, доцент, г. Тараз (Казахстан) – paridaimanjan@gmail.com

Ракишева Ботагоз Ислямовна – директор Института «Общественное мнение» Академии госуправления при Президенте РК, кандидат социологических наук, г. Астана (Казахстан) – bota.rakisheva@opinions.kz

Raivo Vetik – Professor of Comparative Politics, Doctor of Political Science (PhD), Tallinn University, Estonia – rvetik@tlu.ee

Фабио Де Леонардис – Шанхайский университет иностранных языков, PhD, приглашенный профессор, г. Бари (Италия) – fabiodeleonardis2@gmail.com

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич – главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, доктор философских наук, ассоциированный профессор, г. Алматы (Казахстан) – mukash2424@gmail.com

Шакеева Ботакөз Рахымбекқызы – ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының аға ғылыми қызметкері, PhD, Алматы қ. (Қазақстан) – botashakeeva@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
<i>Andrew Farmer</i> Migrants, Identity, Integration and Governance the United Kingdom.....	
<i>Анджей Вежбицки</i> Возвращаясь к вопросу о происхождении нации.....	
<i>Айтымбетов Н.Ы.</i> Этносаралық қарым-қатынас саласындағы өшпенділік тілі (Оңтүстік өңірлерде жүргізілген фокус-топ материалдары негізінде).....	
<i>Болганбаева Ш.Д.</i> Язык вражды как социальная проблема (результаты социологического исследования 2026 года в городе Шымкент и Туркестанской области).....	
<i>Damira Sikhimbayeva</i> Integrational and Disintegrational Tendencies of Islamization within Nation-Building in Post-Soviet Kazakhstan.....	
<i>Додонов В.Ю.</i> Взаимосвязь межэтнических конфликтов и социально-экономической ситуации: на примере южных регионов Казахстана.....	
<i>Larisa Kangaspuro, Botagoz Rakisheva</i> Central Asian Migration to the Baltic and Nordic Countries: Historical Development, Current Trends and Migration Regimes.....	
<i>Мамедова П.И.</i> Влияние информации в социальных сетях и СМИ на межэтнические отношения: на примере города Тараз и Жамбылской области.....	
<i>Raivo Vetik</i> National Integration under the Shadow of War: Explaining Estonia's "Dead Circle" of Mutual Fears.....	
<i>Фабио Де Леонардис</i> Патримониализация итальянской и апулийской идентичности через бренд оливкового масла.....	
<i>Шайкемелев М.С.-А.</i> Казахизация этносоциального пространства Казахстана:	

тенденции и перспективы процесса.....

Шакеева Б.Р.

Қандастар мен жергілікті қазақтар арасындағы
әлеуметтік-мәдени шекаралар: тіл, күнделікті
қарым-қатынас және өзара мойындау мәселелері.....

Авторы сборника.....